

БОЛЬШИЕ *и* КНИГИ



Джон Стейнбек

**Гроздь  
гнева**

# Джон Эрнст Стейнбек

## Гроздь гнева

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=143960](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=143960)*

*Гроздь гнева: Роман / Пер. с англ. Н. Волжиной.: Азбука, Азбука-Аттикус; Санкт-Петербург; 2013  
ISBN 978-5-389-06635-9*

### Аннотация

«В душах людей наливаются и зреют гроздь гнева – тяжелые гроздь, и дозревать им теперь уже недолго...» Культовый роман Джона Стейнбека «Гроздь гнева» впервые был опубликован в Америке в 1939 году, получил Пулицеровскую премию, а сам автор позднее был награжден Нобелевской премией по литературе. На сегодняшний день «Гроздь гнева» входят во многие учебные программы школ и колледжей США.

Во время Великой депрессии семья разоренных фермеров вынуждена покинуть свой дом в Оклахоме. По знаменитой «Road 66» через всю Америку, как и миллионы других безработных, они едут, идут и даже ползут на запад, в вожделенную Калифорнию. Но что их там ждет? И есть ли хоть какая-то надежда на светлое будущее?

# Содержание

1	5
2	11
3	26
4	30
5	54
6	69
7	106
8	116
9	150
10	156
Конец ознакомительного фрагмента.	184

# Джон Стейнбек

## Гроздь гнева

*Кэрл, которая подвигла меня на это, и Тому,  
который испытал все это на себе*

Перевод с английского Надежды Волжиной  
Оформление обложки Валерия Гореликова

© Н. Волжина (наследник), перевод, 2013

© В. Пожидаев, оформление серии, 2012

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2013

Издательство АЗБУКА®

# 1

Красные поля и часть серых полей Оклахомы только сбрызнуло последними дождями, и этого было слишком мало, чтобы размягчить запекшуюся землю. Плуги прошлись по полям, исчерченным струйками не впитавшейся в почву воды. После дождей кукуруза быстро дала ростки, по обочинам дорог зазеленели травы и бурьян, – и серые поля, и темно-красные поля начали исчезать под зеленым покровом. В конце мая небо выцвело, и облака, всю весну державшиеся кучками высоко в небе, мало-помалу растаяли. Горячее солнце день за днем пекло подрастающую кукурузу, и вот по краям зеленых побегов уже начала проступать коричневая полоска. Тучи появлялись ненадолго и исчезали, а потом и вовсе перестали собираться. Зеленый бурьян потемнел, защищаясь от солнца, и уже не захватывал новых участков. На поверхности земли образовалась тонкая спекшаяся корка, и по мере того как выцветало небо, выцветала и земля: красные поля становились жухло-розовыми, серые выгорали до белизны.

По канавкам, размытым прошлогодними дождями, земля струилась сухими струйками. Пробегая по ним, суслики и муравьиные львы ссыпали вниз маленькие лавины пыли. Солнце палило изо дня в день, и листья молодой кукурузы становились уже не такими упругими и прямыми: сначала

ла они чуть прогнулись посередине, потом жилки потеряли свою крепость, и лист поник к земле. Пришел июнь, и солнце стало печь еще свирепее.

Коричневая полоска по краям кукурузных листьев ширилась, подбираясь к центральной жилке. Бурьян сморщился, и стебли его повисли вниз, касаясь корней. Воздух был прозрачный, небо – совсем выцветшее, и земля тоже выцветала день ото дня.

На дорогах, там, где землю дробили колеса и рассекали лошадиные копыта, корка подсохшей грязи превратилась в пыль. Все движущееся по этим дорогам поднимало ее за собой: пешеход шел по пояс в тонкой пыли, фургон взметал ее вровень с изгородью, за автомобилем она клубилась облаком. Пыль долго стояла в воздухе, прежде чем снова осесть на землю.

Когда июнь уже близился к концу, из Техаса и Мексиканского залива надвинулись тучи – тяжелые грозовые тучи. Люди в полях смотрели на них, втягивали ноздрями воздух, поднимали руку, посплюнув палец, – проверяли, есть ли ветер. И лошади беспокоились, не стояли на месте. Грозовые тучи окропили землю дождем и быстро ушли дальше, в другие страны. Небо после их ухода было такое же выцветшее, солнце палило по-прежнему. Дождевые капли, упав на землю, пробуравливали в пыли маленькие воронки, немного промыли кукурузные листья, и это было все.

Вслед тучам повеял мягкий ветер, он гнал их к северу и

легко покачивал увядающую кукурузу. Прошел день, и ветер окреп, но дул он ровно, без порывов. Дорожная пыль поднялась в воздух, ее относил на бурьян, росший по обочинам дорог, и на поля. Теперь ветер дул сильно и резко, он старался раскрошить подсохшую корку на кукурузных грядках. Мало-помалу небо потемнело, а ветер все шарил по земле, вздымая пыль и унося ее с собой. Ветер крепчал. Запекшаяся корка не устояла перед ним, над полями поднялась пыль, тянувшаяся серыми, похожими на дым космами. Кукурузу с сухим шуршанием хлестал налетавший на нее ветер. Тончайшая пыль уже не оседала на землю, а шла вверх, в потемневшее небо.

Ветер крепчал, он забирался под камни, уносил за собой солому, листья и даже небольшие комья земли и отмечал ими свой путь, проносясь по полям. Воздух и небо потемнели, солнце отсвечивало красным, от пыли першило в горле. За ночь ветер усилился; он ловко пробирался между корнями кукурузы, и она отбивалась от него ослабевшими листьями до тех пор, пока он не вырвал ее из земли, и тогда стебли устало повалились набок, верхушками указывая направление ветра.

Наступило время рассвета, но день не пришел. В сером небе появилось солнце – мутно-красный круг, излучающий слабый, похожий на сумерки свет; к вечеру сумерки снова слились с темнотой, и в темноте над повалившейся кукурузой завывал и плакал ветер.

Люди сидели по домам, а если им случалось выходить, они завязывали нос платком и надевали очки, чтобы защитить глаза от пыли.

Снова наступила ночь — крошечная-черная, потому что звезды не могли проникнуть сквозь мглу, а света из окон хватало только на то, чтобы разогнать темноту во дворе около жилья. Пыль смешалась с воздухом, слилась с ним воедино, точно эмульсия из пыли и воздуха. Дома были закрыты наглухо, дверные и оконные щели забиты тряпками, но пыль незаметно проникала внутрь и тончайшим слоем ложилась на стулья и столы, на посуду. Люди стряхивали ее у себя с плеч. Еле заметные полосы пыли наметало к дверным порогам.

Среди ночи ветер смолк, и наступила тишина. Пропитанный пылью воздух приглушал звуки, как не приглушает их даже туман. Лежа в постелях, люди слышали, что ветер утих. Они проснулись в ту минуту, когда свист его замер вдали. Они лежали и напряженно вслушивались в тишину. Вот закукарекали петухи, но их голоса звучали приглушенно, и люди беспокойно заворочались в постелях, думая: скорей бы утро. Они знали: такая пыль уляжется не скоро. Утром она стояла в воздухе, точно туман, а солнце было ярко-красное, как свежая кровь. И этот день, и весь следующий небо сеяло пыль на землю. Земля покрылась ровным мягким слоем. Пыль оседала на кукурузу, скапливалась кучками на столбах изгородей, на проводах; она оседала на крыши, покрывала



траву и деревья.

Люди выходили из домов и, потянув ноздрями опаляющий жаром воздух, прикрывали ладонью нос. И дети тоже вышли из домов, но они не стали носиться с криками по двору, как это бывает с ними после дождя. Мужчины стояли у изгородей и смотрели на погибшую кукурузу, которая быстро увядала теперь и только кое-где проглядывала зеленую сквозь слой пыли. Мужчины молчали и не отходили от изгородей. И женщины тоже вышли из домов и стали рядом с мужьями, спрашивая себя, хватит ли у мужчин сил выдержать это. Женщины украдкой приглядывались к лицам мужей, кукурузы не жалко, пусть пропадает, лишь бы сохранить другое, главное. Дети стояли рядом, выводя босыми ногами узоры на пыли, и дети тоже старались проведать чутьем, выдержат ли мужчины и женщины. Дети поглядывали на лица мужчин и женщин и осторожно чертили по пыли босыми ногами. Лошади подходили к водопою и, мотая мордами, разгоняли налет пыли на поверхности воды. И вот выражение растерянности покинуло лица мужчин, уступило место злобе, ожесточению и упорству. Тогда женщины поняли, что все обошлось, что на этот раз мужчины выдержат. И они спросили: что же теперь делать? И мужчины ответили: не знаем. Но это было не страшно, женщины поняли, что это не страшно, и дети тоже поняли, что это не страшно. Женщины и дети знали твердо: нет такой беды, которую нельзя было бы стерпеть, лишь бы она не сломила мужчин. Женщины

вернулись к домашним делам, дети занялись игрой, но игра не сразу пошла на лад. К середине дня солнце было уже не такое красное. Оно заливало зноем укрытую пылью землю. Мужчины сели на крылечки; в руках они вертели кто прутик, кто камешек. Они сидели молча... прикидывали... думали.

У небольшого придорожного бара стоял громадный красный грузовик. Вертикальная выхлопная труба глухо пофыр-кивала, и над ней стлался почти невидимый глазу серо-голубой дымок. Грузовик поблескивал свежей красной краской, а по борту у него шла надпись огромными буквами: *Транспортная компания Оклахома-Сити*. Двойные шины на скатах были новые, на засове широкой задней дверцы стоял торчком медный замок. Из бара доносилась спокойная танцевальная музыка; радио было пущено совсем тихо, очевидно, его никто не слушал. Маленький вентилятор бесшумно вертелся в круглом отверстии над входом, и мухи взволнованно жужжали у двери и окон, ударяясь о металлическую сетку. В баре был только один посетитель – шофер грузовика; он сидел на табурете, поставив локти на стойку, и смотрел поверх чашки кофе на скучающую худую официантку. Между ними шел пустой, ни к чему не обязывающий разговор, какие часто ведутся в придорожных барах:

– Я его видел месяца три назад, после операции. Вырезали ему что-то. Только не помню что.

И она:

– Да я сама его видела на прошлой неделе. Здоровый был, ни на что не жаловался. Он ничего малый, пока не напьется.

Мухи то и дело с жужжанием налетали на металлическую

дверную сетку. Из электрического кофейника пошел пар, официантка, не глядя, протянула назад руку и выключила его.

На шоссе появился прохожий. Увидев грузовик, он медленно подошел к нему, тронул рукой блестящее крыло и посмотрел на бумажку, приклеенную к ветровому стеклу: «Брать пассажиров воспрещается». Он хотел было идти дальше своей дорогой, но раздумал и сел на подножку грузовика с той стороны, которая была дальше от бара. Человек этот выглядел лет на тридцать, не больше. Глаза у него были темно-карие, с желтоватыми белками, скулы широкие, по обе стороны рта залегли две глубокие морщины. Зубы выдавались вперед, но их не было видно, потому что он держал губы сомкнутыми; руки были огрубевшие, ногти толстые и твердые, как ракушки. В выемке между большим и указательным пальцами и на мясистой части ладоней поблескивали мозоли.

Человек был одет во все новое – недорогое и новое. Козырек его серой кепки даже не успел погнуться, и пуговка на нем еще сидела на месте. Кепка не потеряла формы, не обвисла, как это бывает, когда головной убор служит одновременно и сумкой, и полотенцем, и носовым платком. Серый костюм из дешевой грубой материи тоже был настолько новый, что на брюках еще сохранилась складка. Нестирная синяя рубашка торчала колом. Пиджак был ему слишком широк, а брюки коротки, не по росту. Пройма приходи-

лась ниже, чем следует, но рукава все равно не доходили до запястий, полы пиджака болтались спереди. На ногах у него были новые коричневые башмаки армейского образца, подбитые гвоздями и с железными пластинками, вроде маленьких подковок, чтобы не сбивать каблуков. Человек сел на подножку грузовика, снял кепку, вытер ею лицо, снова надел ее и потянул за козырек, тем самым положив начало его гибели. Потом он нагнулся, ослабил шнурки на башмаках – и так и оставил концы незавязанными. У него над головой из выхлопной трубы дизель-мотора быстро один за другим вырывались легкие облачка голубого дыма.

Музыка в баре смолкла, из репродуктора слышался мужской голос, но официантка не выключила радио, потому что она даже не заметила этой перемены. Ее пальцы нащупали за ухом прыщик. Она пыталась разглядеть его в зеркале, висевшем над стойкой, но так, чтобы шофер ничего не заметил, и поэтому притворялась, будто поправляет прядь волос. Шофер сказал:

– В Шоуни на днях публика собралась потанцевать. Говорят, убили кого-то. Ничего не слыхала?

– Нет, – ответила официантка и осторожно потрогала пальцем прыщик за ухом.

Человек, сидевший на подножке грузовика, встал и посмотрел через капот на бар. Потом снова сел и вынул из кармана пиджака кисет с табаком и книжечку курительной бумаги. Медленно и с большим искусством он свернул само-

крутку, осмотрел ее со всех сторон, выровнял пальцами, закурил и ткнул горящую спичку под ноги, в пыль. Полдень был уже близок, и солнце понемногу съедало тень, падавшую от грузовика.

В баре шофер заплатил за кофе и сунул сдачу – две монеты по пяти центов – в автомат. Вращающиеся цилиндры не дали нужной комбинации.

– Эти штуки так устроены, что никогда не выиграешь, – сказал он официантке.

Она ответила:

– А одному повезло, большой выигрыш сорвал. Совсем недавно, часа три назад. Три доллара восемьдесят. Когда будешь обратно?

Шофер приостановился на пороге.

– Через неделю, а то дней через десять, – ответил он. – В Талсу еду, а там всегда задерживаешься.

Она сердито сказала:

– Мух напустишь. Или уходи, или закрой дверь.

– Ладно, до свиданья, – сказал шофер и вышел.

Дверь за ним захлопнулась. Он стал на солнцепеке, срывая обертку с жевательной резинки, – грузный, широкоплечий, с уже заметным брюшком. Лицо у него было красное, глаза голубые и узкие, как щелочки, от привычки щуриться на ярком свете. На нем были брюки защитного цвета и высокие зашнурованные башмаки. Поднеся жевательную резинку ко рту, он крикнул официантке:

– Ну, будь умницей, чтобы мне на тебя не жаловались.

Официантка стояла, повернувшись лицом к зеркалу. Она буркнула что-то в ответ. Шофер медленно жевал резинку, широко открывая рот. Потом пошел к своему красному грузовику, на ходу примял зубами резиновую жвачку и забрал ее под язык.

Пешеход встал и посмотрел на шофера сквозь окна кабины.

– Не подвезете меня, мистер?

Шофер бросил быстрый взгляд на бар.

– Не видишь разве, что у меня на ветровом стекле?

– Как не видеть – вижу. А все-таки порядочный человек – он всегда порядочный, даже если какая-нибудь богатая сволочь заставляет его ездить с такой наклейкой.

Шофер медленно полез в машину, раздумывая над этим ответом. Если отказать, значит, не только опорочить самого себя, но и признаться в том, что тебя заставляют разъезжать с такой наклейкой и лишают компании в пути. А если взять пассажира, значит, причислить себя к разряду людей порядочных, которые к тому же не позволяют всякой богатой сволочи распоряжаться тобой как угодно. Он чувствовал, что попался в ловушку, но выхода из нее найти не мог. А ему очень хотелось быть порядочным. Он снова взглянул на бар.

– Примостись как-нибудь на подножке вон до того поворота, – сказал он.

Человек нырнул вниз и ухватился за дверную ручку. Шо-

фер включил зажигание, мотор взревел, и громадный грузовик тронулся с места, – первая скорость, вторая, третья, машина пронзительно взвыла и перешла на четвертую скорость. Сливаясь в мутное пятно, дорога с головокружительной быстротой проносилась перед глазами человека, прильнувшего к подножке. Первый поворот был за милю от бара, и, обогнув его, грузовик поехал медленнее. Человек выпрямился, приоткрыл дверцу и пробрался в кабину. Шофер взглянул на него прищуренными глазами, продолжая жевать, словно его мысли и впечатления приводились в надлежащий порядок с помощью челюстей и только потом проникали в мозг. Его взгляд задержался сначала на новой кепке, потом на новом костюме и наконец скользнул к новым башмакам пассажира. Тот уселся поудобнее, снял кепку и вытер ею взмокший лоб и подбородок.

– Спасибо, приятель, – сказал он. – А то мои ходули совсем отказываются служить.

– Новые башмаки, – сказал шофер. В его голосе была та же вкрадчивость и хитрость, что и во взгляде. – Разве можно пускаться в дорогу в новых башмаках, да еще по такой жарнице!

Человек взглянул на свои покрытые пылью желтые башмаки.

– Других не было, – сказал он. – Что есть, то и носишь.

Шофер внимательно посмотрел на дорогу и немного увеличил скорость.



– Далеко идешь?

– Угу. Я расстояния не боюсь, да вот только ходули мои совсем отказываются служить.

Шофер так выпрашивал его, будто производил осторожный допрос. Он будто раскидывал перед ним сети, ставил ловушки.

– Ищешь работу?

– Нет, у моего старика тут участок. Арендует. Мы уже давно в этих местах.

Шофер многозначительно посмотрел на поля вдоль дороги, на полегшую, занесенную пылью кукурузу. Из-под слоя пыли кое-где проглядывали мелкие камни. Шофер проговорил будто самому себе:

– Что ж, так он и сидит на своем участке? И пыль ему нипочем, и тракторы ему нипочем?

– Не знаю. Мне последнее время из дому не писали, – ответил пассажир.

– Значит, давненько не писали, – сказал шофер. В кабину залетела пчела и с жужжанием стала биться о ветровое стекло. Шофер протянул руку и осторожно подвинул пчелу к окну кабины, где ее подхватило ветром. – Арендаторам сейчас крышка, – сказал он. – Одним трактором сразу десять семей с места сгоняют. Эти тракторы таких дел наделали! Запахивают участок, а арендатора долой. Как это твой старик удержался? – Его язык и челюсти снова занялись резинкой, стали жевать ее и перекладывать со стороны на сторону. Каж-

дый раз, как он открывал рот, между губами у него виднелся язык, гоняющий с места на место резиновую жвачку.

– Да я давно ничего не получал из дому. Сам писать не люблю, отец тоже на эти дела не мастер. – Пассажир быстро добавил: – Но писать мы умеем, была бы только охота.

– Работал где-нибудь? – Снова тот же пыливый, вкрадчивый и как бы небрежный тон.

Шофер взглянул на поля, на дрожащий от зноя воздух и, засунув резинку за щеку, чтобы не мешала, сплюнул в окно.

– А как же, конечно работал, – ответил пассажир.

– Так я и думал. По рукам сразу видно – мозолистые. Топор, а то кирка или молот. Я такие вещи всегда замечаю. Не могу не похвалиться.

Пассажир пристально посмотрел на него. Колеса грузовика с монотонным шуршаньем скользили по шоссе.

– Еще что-нибудь хочешь узнать? Я сам расскажу. Зачем тебе голову зря ломать?

– Брось ты. Вот – рассердился. Я в твои дела не суюсь.

– Я сам все расскажу. Мне скрывать нечего.

– Да брось, не сердись. Я люблю ко всему приглядываться.

Время незаметно проходит.

– Я тебе все расскажу. Фамилия Джоуд. Том Джоуд. Отец тоже Том Джоуд. – Глаза его сумрачно смотрели на шофера.

– Брось сердиться. Это я просто так.

– Я тоже просто так, – сказал Джоуд. – Я живу тихо и зря никого не обижаю.

Он замолчал и взглянул на сухие поля, на истощенные зноем деревья, видневшиеся вдаль сквозь раскаленный воздух. Потом достал из бокового кармана кисет и бумагу и свернул самокрутку, опустив руки между коленями, чтобы табак не унесло ветром.

Шофер двигал челюстями размеренно и задумчиво, точно корова. Он молчал, выжидая, когда впечатление от предыдущего разговора изгладится, и лишь только чувство неловкости рассеялось, сказал:

– Кто не сидел целыми днями за рулем, тот не знает, что это такое. Хозяева не позволяют нам брать попутчиков. Вот и гоняй из конца в конец один, как проклятый, если не хочешь нарваться на расчет. А я с тобой того и гляди нарвусь.

– Ценю, – сказал Джоуд.

– Некоторые шоферы черт-те что выделывают. Один, например, стихи сочинял, чтобы время проходило быстрее. – Он взглянул украдкой на Джоуда, не заинтересуется ли тот таким поразительным сообщением. Джоуд молчал, глядя прямо перед собой, глядя на дорогу, на белую дорогу, которая уходила вдаль мягкой волнистой линией, повторяющей линию холмов. Так и не дождавшись ответа, шофер продолжил свой рассказ: – Одни его стихи я помню. Там так было: будто он и еще двое его приятелей разъезжают по всему свету, пьянствуют, дебоширят. Эх, жалость, всего не могу повторить! Он там таких длинных слов наворачал, сам черт не разберет. Помню только одно место: «Повстречался нам

голландец, у него протуберанец ни в один не лезет ранец». Протуберанец – это выступ. Он мне в словаре сам показывал. Ни на минуту со своим словарем не расставался. Подъедет к закусочной, закажет себе кофе с пирогом, а сам уткнется носом в словарь. – Шофер замолчал. Говорить одному, да еще так долго, было неприятно. Его пытливый взгляд снова остановился на пассажире. Джоуд сидел молча. Шоферу стало не по себе, и он сделал еще одну попытку втянуть Джоуда в разговор. – Слыхал, чтобы такие словеса выворачивали?

– Слыхал – проповедника, – сказал Джоуд.

– Проповедник это дело другое, с ним ляссы точить не станешь. Вообще-то зло берет, когда так говорят, но тот малый был весельчак. Все знали, что он это на смех делает, а не так, чтобы похвалиться: вот я какой ученый! – Шофер успокоился. Теперь он, по крайней мере, знал: его слушают. Он сделал такой крутой поворот, что шины взвизгнули. – Вот я и говорю, – продолжал он, – некоторые ребята черт-те что вытворяют. Приходится. Сидишь-сидишь за рулем, ничего, кроме дороги, не видишь – поневоле ум за разум зайдет. Про шоферов болтают, будто они только и делают, что жрут, – ездят из одного бара в другой и жрут.

– Правильно. И днюют и ночуют в барах, – сказал Джоуд.

– Конечно, остановки мы делаем, но это не ради еды. Нам и есть-то редко когда хочется. Едешь-едешь – осточертеет вконец. Останавливаться можно только около баров, а если остановился, надо что-нибудь заказать. Перекинешься сло-

вечком с официанткой, закажешь стакан кофе, кусок пирога. Отдохнешь малость. – Он медленно жевал резинку, подправляя ее языком.

– Туго вам приходится, – равнодушно сказал Джоуд.

Шофер быстро взглянул на своего пассажира, заподозрив в его словах насмешку.

– Да, нелегко, – раздраженно сказал он. – Будто и плевое дело: отсидел за рулем свои восемь, а то и десять и четырнадцать часов в день – и все. А дорога тебе в душу въедается. Вот и придумываешь, чем бы поразвлечься. Кто поет, кто посвистывает. Радиоприемники компания не позволяет ставить. Некоторые ездят с бутылочкой, но таких ненадолго хватает. – Он добавил самодовольным тоном: – Я в дороге никогда не пью.

– Будто и не пьешь? – спросил Джоуд.

– Нет. Надо в люди выбиться. Хочу поступить на заочные курсы. Изучу механику. Это нетрудно. Уроки задают легкие. Я серьезно об этом подумываю. Тогда прощай грузовик. Пусть другие поездят.

Джоуд достал из бокового кармана бутылку виски.

– Неужто не хочешь? – Он точно поддразнивал шофера.

– Нет, ну ее! И не притронусь. Что-нибудь одно: или пить, или учиться.

Джоуд откупорил виски, быстро один за другим сделал два глотка, снова закрыл бутылку металлическим колпачком и сунул ее в карман. По кабине разнесся резкий, пряный за-

пах виски.

– Ты какой-то беспокойный, – сказал Джоуд. – Что тебя ест? Девочку, что ли, завел?

– А то как же? Да не в том дело, надо в люди выбиться. Я свои мозги уже давно тренирую.

Виски, по-видимому, развязало Джоуду язык. Он свернул еще одну самокрутку и закурил.

– Теперь уж мне недалеко, – сказал он.

Шофер торопливо заговорил:

– Мне напиваться незачем. Я тренируюсь, развиваю в себе наблюдательность. Два года назад прошел специальный курс. – Он погладил правой рукой штурвал руля. – Предположим, идет мне навстречу пешеход. Я на него посмотрю и стараюсь все запомнить – как он одет, какие на нем башмаки, что на голове, и походку примечу, а иногда и рост, и есть ли шрамы на лице, да еще прикинешь, какой у него вес. Ничего, получается. Будто перед собой этого человека видишь. Думаю, не изучить ли мне дактилоскопию. Есть и такой курс. Иной раз сам себе удивляешься, сколько всего можно запомнить.

Джоуд быстро отхлебнул виски. Он поднес расплзшуюся самокрутку ко рту, затянулся последний раз и притушил горящий конец заскоруждыми пальцами. Потом смял окурок, протянул руку в окно, и ветер сдул табак у него с ладони. Толстые шины ровно напевали, скользя по шоссе. В спокойных темных глазах Джоуда, смотревших на дорогу, по-

явилось насмешливое выражение. Шофер замолчал и встревоженно покосился на своего пассажира. Наконец длинная верхняя губа Джоуда дрогнула, обнажив зубы, и его плечи затряслись от беззвучного смеха:

– Долго же ты к этому подбирался, приятель.

Шофер сидел, глядя прямо перед собой.

– Подбирался? К чему? О чем это ты?

Джоуд плотно сжал губы, потом лизнул их, точно собака – в два приема, от середины к уголкам рта. В его голосе появились резкие нотки.

– Сам знаешь о чем. Ты и меня с ног до головы оглядел. Думаешь, я не заметил?

Не поворачивая головы, шофер стиснул штурвал руля, руки у него побелели, под кожей вздулись мускулы.

Джоуд продолжал:

– Ты же знаешь, откуда я иду.

Шофер молчал.

– Ведь знаешь? – повторил Джоуд.

– Ну, знаю... То есть догадываюсь. Только меня это не касается. Мое дело сторона. Мне-то что? – Он говорил быстро. – Я в чужие дела не суюсь. – И вдруг выжидающе замолчал. Побелевшие руки все еще сжимали штурвал руля.

В окно кабины влетел кузнечик; он уселся на щитке контрольных приборов и начал чистить крылышки своими коленчатыми, пружинящими ножками. Джоуд протянул руку, раздавил пальцами твердую, похожую на череп головку на-

секомого и выкинул его за окно, на ветер. С тем же беззвучным смешком он посучил пальцами, только что державшими раздавленного кузнечика.

– Ошиблись, мистер. Я ничего замалчивать не собираюсь. Ну, сидел я в Мак-Алестере. Четыре года отбарабанил. И одежду мне там дали перед выходом. Пусть все знают, плевал я на это. Вот иду теперь домой к отцу, потому что без вранья работы не найдешь, а врать я не собираюсь.

Шофер сказал:

– Это меня не касается. Я в чужие дела носа не сую.

– Это ты не суешь? – сказал Джоуд. – Да у тебя нос на восемь миль вперед вытянулся. Ты своим носом меня обнюхал, точно овца капусту.

Шофер насупился.

– Зря ты так говоришь... – вяло начал он.

Джоуд рассмеялся.

– Ты малый неплохой – подвез меня. Ну, сидел я в тюрьме. Дальше что? Хочешь знать, как я туда попал?

– Это меня не касается.

– Тебя ничего не касается. Ты будто и вправду – гоняешь свой рыдван и больше ничего знать не знаешь. А на поверку выходит другое. Ну да ладно. Видишь проселочную дорогу?

– Вижу.

– Я там слезу. Ты, верно, в штаны напустил от любопытства, очень уже тебе хочется узнать, за что меня посадили. Ну, не буду тебя мучить. – Рокот мотора стал глуше, песен-



ка шин начала понемногу затихать. Джоуд вынул бутылку и отхлебнул из нее. Грузовик подъехал к проселочной дороге, под прямым углом пересекавшей шоссе. Джоуд вылез и стал у окна кабины. Выхлопная труба лениво подавала еле видный голубоватый дымок. Джоуд наклонился к шоферу. – Человекоубийство, – быстро проговорил он. – Вот тебе еще одно длинное слово. А попросту говоря, убил я одного молодчика. Заработал семь лет. Отделался четырьмя годами, потому что знал, как себя там вести.

Шофер скользнул глазами по лицу Джоуда, стараясь запомнить его.

– Я тебя ни о чем таком не спрашивал, – сказал он. – Мое дело сторона.

– Можешь доложить об этом во всех барах, отсюда до Тексолы. – Джоуд улыбнулся. – Ну, прощай, приятель. Ты малый неплохой. Только запомни: кто побывал в тюрьме, тот издали почует, куда ты гнешь. Тебе только стоило рот открыть – и готово дело, все ясно. – Джоуд хлопнул ладонью по металлической дверце. – Спасибо, что подвез. Прощай. – Он повернулся и вышел на проселочную дорогу.

Минуту шофер молча смотрел ему вслед, потом крикнул: – Счастливо!

Джоуд, не оборачиваясь, помахал рукой. Мотор взревел, заскрежетала передача, и громадный красный грузовик тяжело тронулся с места.

Вдоль бетонированного шоссе тянулась кромка густой высохшей травы, и стебельки ее клонились к земле, – овсюг поджидал первую пробегающую мимо собаку, чтобы зацепиться усиками за ее шерсть, лисохвост – первую лошадь, чтобы стряхнуть свои семена ей на щетку, клевер – первую овцу, чтобы она унесла его щетинки на своей шубе. Спящая жизнь ждала, когда ее развеют, разнесут во все стороны, и каждое семечко было вооружено особым приспособлением для такого путешествия: ножкой, похожей на изогнутый дро-тик, парашютом, маленьким копьем или крохотной колюч-кой, – и все это поджидало животных или ветра, отворота на мужских брюках или подола женской юбки – поджидало терпеливо, но настороженно, поджидало спокойно, тихо, но в полной готовности к передвижению.

Лучи солнца падали на траву и грели ее, а в тени между стебельками сновали насекомые – муравьи и подстерега-ющие их муравьиные львы, суетливые, похожие на малень-ких армадилл, сороконожки, кузнечики, которые то и дело взвивались в воздух, сверкая желтоватыми крылышками. А вдоль дороги, поворачивая голову то вправо, то влево, во-лочила по траве свой выпуклый панцирь черепаха. Ее жест-кие лапы с желтоватыми когтями медленно ступали по тра-ве, вернее – продирались сквозь траву, таща на себе тяже-

лый панцирь. Ячменные семена скользили по нему, ворсинки клевера падали на него и скатывались на землю. Роговой клюв у черепахи был чуть приоткрыт, глаза пронзительным, насмешливым взглядом смотрели на дорогу из-под жестких надбровных дуг. Позади нее оставалась полоса примятой травы, впереди вставала дорожная насыпь, казавшаяся ей высоким холмом. Она остановилась, подняв голову, прищурилась, посмотрела вверх, потом вниз и двинулась дальше. Передние когтистые лапы вытянулись одна за другой, но черепаха тотчас же убрала их. Заработали задние, панцирь подался вверх, с травы на гравий. Чем круче насыпь, тем резче становились движения черепахи. Задние лапы скользили, обрывались, подталкивая панцирь, длинная шея с чешуйчатой головой была вытянута до предела. Мало-помалу панцирь одолел дорожную насыпь и подобрался вплотную к бетонному борту вышиной в четыре дюйма, который пересекал ему путь. Задние лапы, словно действуя независимо от всего тела, двинули его выше. Шея вытянулась, и черепаха заглянула через борт на широкую гладь шоссе. Потом на борт легли передние лапы, они напряглись, и панцирь медленно подтянулся кверху. Черепаха отдыхала. Рыжий муравей пробрался между панцирем и нижним щитком, щекотнул нежную кожу, и вдруг голова и ноги черепахи спрятались, чешуйчатый хвост ушел вбок, под панцирь. Рыжий муравей лежал, раздавленный, между лапой и брюшком. А колос овсяга, приставший к передней лапе, тоже очутился под панци-

рем. Долгое время черепаха лежала неподвижно, потом из-под верхнего щитка показалась длинная шея, насмешливые старческие глаза посмотрели по сторонам, а вслед за этим выглянули наружу ноги и хвост. Задние ноги пришли в движение, напряжились, как у слона, и вот панцирь подался кверху, так что передние ноги оторвались от борта шоссе. Но задние подталкивали панцирь все выше и выше, центр тяжести переместился, передняя часть туловища скользнула вниз, когти царапнули по бетону, и черепаха стала на шоссе. А колос овсюга, обвившийся вокруг ее передних лап, так и застрял там.

Теперь идти было легче, и за работу принялись все четыре ноги; панцирь двигался вперед, покачиваясь из стороны в сторону. На шоссе показалась машина, за рулем которой сидела пожилая женщина. Она заметила черепаху и круто свернула вправо. Шины взвизгнули, подняв облако пыли. Два колеса на секунду оторвались от земли и тут же стали обратно. Машина пошла дальше, но уже гораздо медленнее. Черепаха, спрятавшая было голову и ноги, теперь заторопилась, потому что раскаленный бетон обжигал ее, точно огнем.

Через минуту-другую впереди показался небольшой грузовик, и когда он подъехал ближе, шофер увидел черепаху и свернул прямо на нее. Переднее колесо чиркнуло по краю панциря, подкинуло черепаху вверх, точно костяную фишку, завертело, точно монету, и сбросило с шоссе. А грузовик

опять выехал на правую сторону дороги. Черепаха долго лежала на спине, не высовывая наружу ни головы, ни ног. Наконец ноги вытянулись в воздух, ища опоры. Передняя нащупала кусок кварца, и мало-помалу черепаха перевернулась спиной вверх. Колос овсяга отцепился от лап, и из него выпали три остроконечных семечка. А брюшной щит черепахи, спускавшейся теперь вниз по насыпи, прикрыл их слоем земли. Черепаха выбралась на проселочную дорогу и заковыляла по мягкому слою пыли, оставляя за собой волнистый след. Насмешливые старческие глаза смотрели прямо вперед, роговой клюв был полуоткрыт. Лапы с желтоватыми когтями чуть разъезжались в пыли.

Услышав, что грузовик тронулся с места и, набирая скорость, покатил по шоссе, глухо откликавшемуся на шлепки резиновых шин, Джоуд остановился и проводил его взглядом. Машина исчезла, а Джоуд все стоял, глядя вдаль, на дрожащий от зноя голубоватый воздух. Потом, словно в раздумье, достал из кармана бутылку виски, отвернул металлический колпачок, осторожно потянул из горлышка и, чтобы получить полное удовольствие, просунул туда язык и облизал губы. Он попробовал вспомнить: «Повстречался нам голландец...» – но дальше этого дело не пошло. Тогда он повернулся спиной к шоссе и посмотрел на проселочную дорогу, уходившую под прямым углом в поля. Солнце пекло всюду, пыль лежала ровным слоем, не потревоженная ветром. Дорога была изрезана колеями, до краев наполненными пылью. Джоуд сделал несколько шагов, и легкая, как мука, пыль, поднимающаяся перед его новыми башмаками, сейчас же запорошила их, превратив из желтых в серые.

Он нагнулся, развязал шнурки и сбросил сначала правый, а вслед за ним и левый башмак. Потом размял потные ноги, притопывая ими по горячей пыли и пропуская струйки ее между пальцами до тех пор, пока подсохшую кожу не стянуло. Он снял пиджак, завернул в него башмаки и сунул сверток под мышку. И наконец зашагал дальше, взметая перед

собой пыль, оставляя ее облачком, низко стелющимся по его следам.

Дорога была обнесена изгородью – ракитовые колья, между ними два ряда колючей проволоки. Колья были кривые, плохо обтесанные. Если развилины приходились на должной высоте, колючая проволока была положена на них; если же нет – просто прикручена обрывком обыкновенной проволоки. За изгородью лежала кукуруза, поваленная ветром, засухой, жарой, и пазухи ее листьев, в тех местах, где они отделялись от стебля, были до краев наполнены пылью.

Джоуд шел по дороге, а облачко пыли так и стлалось по его следам. Он увидел впереди выпуклый панцирь черепахи, медленно и как бы рывками передвигавшей свои неуклюжие ноги. Джоуд остановился, глядя на черепаху, и заслонил ее своей тенью. Голова и ноги сейчас же спрятались, короткий толстый хвост ушел вбок, под панцирь. Джоуд поднял черепаху и перевернул ее брюшком кверху. Спинка у нее была бурая, под цвет пыли, а нижний щиток молочно-желтый, чистый и гладкий. Джоуд прихватил поудобнее свой сверток и провел пальцем по нижнему щитку, потом нажал сильнее. Нижний щиток был мягче верхнего. Чешуйчатая голова вылезла наружу, черепаха старалась заглянуть вверх, на палец Джоуда, ноги у нее судорожно дергались. Она намочила Джоуду на ладонь, продолжая беспомощно биться. Джоуд перевернул ее вниз брюшком и закутал в пиджак вместе с башмаками. Он чувствовал, как она возится там, тычется из

стороны в сторону, сучит ногами. Он прибавил шаг и пошел, вдавливая пятки в мягкую пыль.

Впереди, у самой дороги, тощая запыленная ива бросала на землю пеструю тень. Ее жалкие ветки протянулись над дорогой, верхушка с редкой вялой листвой была похожа на линияющую курицу. Джоуд весь взмок от пота. Его синяя рубашка потемнела на спине и под мышками. Он надвинул кепку на лоб и перегнул козырек посередине, сломав картонную прокладку и тем самым окончательно лишив свой головной убор права называться новым. Ноги несли его все быстрее к тени от ивы. Он знал, что там будет тень, если не от листьев, то от ствола уж наверное, так как солнце было не в зените. Горячие лучи обжигали ему затылок, в голове слегка шумело. Джоуд не видел основания дерева, потому что оно стояло в маленькой ложбинке, где влага сохранялась дольше, чем на ровных местах. Он шагал все быстрее, торопясь спрятаться от солнца, и стал уже спускаться вниз, под откос, но вдруг осторожно замедлил шаги, увидев, что место, куда падала густая полоса тени от ствола, уже занято. Прислонившись спиной к иве, на земле сидел человек. Согнутые в коленях ноги были сложены у него крест-накрест, и босая правая ступня приходилась чуть ли не на одном уровне с головой. Человек насвистывал фокстротную мелодию и не слышал шагов Джоуда. Задранная кверху ступня мерно отбивала такт. Темп фокстрота был замедленный, не танцевальный. Человек перестал свистеть и запел жидким тенорком:



Да, сэр, Он спаситель,  
Хри-стос мой спаситель,  
Хри-стос мой спаситель – да!  
До-лой преисполню,  
Пой сла-ву Господню,  
Хри-стос мой спаситель – да!

Человек слышал шаги Джоуда, только когда тот ступил в пеструю тень, падавшую на землю от реденькой листвы; он перестал петь и обернулся. Его длинная, туго обтянутая кожей голова сидела на мускулистой и жилистой, точно сельдерей, шее. Глаза были большие, выпуклые, с воспаленными красными веками. Лицо смуглое, лоснящееся, без малейших признаков растительности, полные губы – то ли насмешливые, то ли чувственные. Кожа так плотно облегалась его острый костлявый нос, что на переносице виднелось белое пятнышко. Ни на щеках, ни даже на высоком бледном лбу не было ни единой капельки пота. Лоб у него был несуразно большой, с тонкими голубыми жилками на висках. Глаза делили это лицо ровно пополам. Жесткие седые волосы распались неровными прядями, – видимо, он отбросил их назад, прочесав всей пятерней. На нем были брюки-комбинезон и синяя рубашка. Куртка с медными пуговицами и коричневая, вся в грязных пятнах, шляпа с круглой, как пирог, тульей лежали на земле рядом с ним. Серые от пыли парусиновые туфли были сброшены с ног и валялись тут же.

Человек долго смотрел на Джоуда. Солнечный свет глубоко проникал в его карие глаза и зажигал в зрачках золотые искорки. Когда он поднял голову, мускулы у него на шее обозначились еще сильнее.

Джоуд молча стоял в пятнистой тени. Он снял кепку, вытер ею потное лицо и бросил ее вместе со свернутым пиджаком на землю.

Человек, сидевший у дерева, вытянул ноги и зарыл пальцы в пыль.

Джоуд сказал:

– Ф-фу! Ну и жарыща.

Человек вопросительно смотрел на него.

– А ведь, никак, это Том Джоуд, сын старого Тома!

– Да, – сказал Джоуд. – Он самый. Домой иду.

– Ты меня, верно, не помнишь? – человек улыбнулся, показав в улыбке длинные лошадиные зубы. – Да где тебе помнить! Ты на молениях только тем и занимался, что дергал девчонок за косы. Бывало, ничего не слушает, знай себе девчонке косу обрывает. Забыл, верно; а я все помню. Пришлось мне и тебя, и ту девчонку сподобить благодати. Обоих окрестил в оросительной канаве. А уж отбивались-то, орали, как кошки!

Джоуд долго смотрел на него сверху вниз и вдруг рассмеялся.

– Да ведь ты проповедник! Ну конечно, наш проповедник. А знаешь, я какой-нибудь час назад тебя вспоминал.

– Бывший проповедник, – серьезно проговорил человек, сидевший под деревом. – Его преподобие Джим Кэйси. Из секты «Неопалимая купина». Было дело – завывал во славу Господню. И кающихся грешников, чуть что, так в канаву – набьешь ее до отказа, того и гляди, половина перетонет. А теперь я не тот. – Он вздохнул. – Теперь я просто Джим Кэйси. Нет во мне прежней благодати. Грешные мысли одолели... Грешные, но, на мой взгляд, здоровые.

Джоуд сказал:

– Если уж начал задумываться о том о сем, тут и до грешных мыслей недалеко. Я тебя не забыл. Ты у нас хорошие моления устраивал. Помню, как-то раз сделал стойку и целую проповедь прочел, расхаживая на руках, и был как оглашенный. Матери ты больше всех был по душе. А бабка, та говорила, что благодать из тебя так и прет. – Джоуд запустил руку в сверток, нащупал карман пиджака и вынул оттуда бутылку. Черепаха высунула наружу одну ногу, но Джоуд запихал ее обратно и свернул пиджак потуже. Потом открутил металлический колпачок и протянул бутылку проповеднику. – Хочешь хлебнуть?

Кэйси взял бутылку и хмуро уставился на нее.

– Я больше не проповедую. Народ теперь пошел другой, нет в нем благодати. А хуже всего то, что и во мне ее ни на грош не осталось. Конечно, иной раз, бывает, возликуешь – созовешь людей на моление. Или прочитаешь молитву, когда к столу позовут. Просят люди – отказывать не хочется. Но

душу в это я теперь не вкладываю.

Джоуд снова утер лицо кепкой.

– Неужто ты такой уж святоша, что и от виски откажешься? – спросил он.

Кэйси взглянул на бутылку, точно впервые видя ее. Потом приложился губами к горлышку и сделал три больших глотка.

– Хорошее виски, – сказал он.

– Еще бы, – сказал Джоуд. – На заводе гнали. Ему доллар цена.

Кэйси сделал еще один глоток, прежде чем отдать бутылку.

– Да, сэр! – сказал он.

– Вот так-то.

Джоуд взял у него бутылку и поднес ее ко рту, из вежливости не обтерев горлышка рукавом. Потом опустил на корточки, приставил бутылку к свернутому пиджаку и, подобрав с земли ветку, принялся вырисовывать свои мысли в пыли. Он смел листья в сторону, разровнял пыль ладонью и стал выводить по ней квадраты и круги.

– Давно я тебя не видел, – сказал он.

– Меня давно никто не видел, – ответил проповедник. – Я взял да ушел, теперь все больше один сижу и раздумываю. Благодать я не потерял, только она какая-то другая стала. Сомнения меня одолели.

Он выпрямился. Его костлявая рука нырнула в карман

комбинезона, пошарила там, точно белка, вытащила черную, обкусанную со всех сторон плитку табака. Он тщательно очистил с нее мусор, потом откусил кусок и засунул его за щеку. Джоуд помахал веточкой, отказываясь от угощения. Черепаха, закутанная в пиджак, снова завозилась. Кэйси посмотрел на сверток.

– Что это у тебя там – курица? Как бы не задохнулась.

Джоуд свернул пиджак потуже.

– Черепаха, – сказал он. – Подобрал на дороге. Большая, как бульдозер. Братишке хочу отнести. Ребята любят черепах.

Проповедник медленно закивал.

– Черепахами они рано или поздно все обзаводятся. Только черепаху около себя не удержишь. Ищет-ищет, а под конец найдет лаз, выберется на волю, только ее и видели. Вот и я так. Нет того, чтобы проповедовать Слово Божие, – начал его вертеть по-всякому, вот ничего и не осталось. Бывает, возликую духом, а слов для проповеди не нахожу. Мой долг указывать людям путь, но куда их вести, я и сам не знаю.

– А ты води их вокруг да около, – сказал Джоуд. – Попадется оросительная канава, толкай туда. А если не пойдут за тобой, говори, что не миновать им адского пекла. Зачем тебе знать, куда их вести? Веди, и дело с концом.

Тень от ствола протянулась дальше. Джоуд с чувством облегчения передвинулся туда и снова разровнял пыль, чтобы вырисовывать на ней свои мысли. На дороге показалась лох-

матая овчарка. Она бежала, повесив голову, высунув язык, с которого капала слюна. Хвост у нее был поджат, она громко, прерывисто дышала. Джоуд свистнул, но овчарка опустила голову еще ниже и припустилась рысью, торопясь по своим собачьим делам.

– Бежит куда-то, – пояснил несколько уязвленный Джоуд. – Наверно, домой.

Проповедника ничем нельзя было отвлечь от его мыслей.

– Бежит куда-то, – повторил он. – Правильно. Куда-нибудь да бежит. А вот я про себя этого не могу сказать. У меня люди, бывало, до того доходили на молениях, что и прыгают, и говорят на разные голоса, и кричат во славу Божию, пока замертво не грохнутся. Приходилось крестить их в канаве, чтобы в чувство привести. А после моления, знаешь, что я делал? Уведу какую-нибудь девчонку в густую траву и лягу там с ней. И так каждый раз. А потом начинаешь каяться, молишься-молишься, а толку никакого. Соберу народ на моление, возликуем духом, и опять то же самое. Под конец я решил: кончено мое дело. Лицемерю я перед Господом, и больше ничего. Сам этого не хочу, а так получается.

Джоуд улыбнулся, высунул кончик языка между длинными зубами и лизнул губы.

– Такие моления самое разлюбозное дело. После них девчонки податливее становятся, – сказал он. – Я это по опыту знаю.

Кэйси взволнованно подался вперед.

– Вот видишь! – воскликнул он. – Я сам это понял и призадумался. – Он мерно помахивал своей костлявой рукой вверх и вниз в такт словам. – Вот какие ко мне мысли пришли: наделен я благодатью, и на мою паству тоже такая благодать сходит, что люди и скачут, и кричат. Теперь дальше. говорят, кто путается с женщиной, это все дьявольское наваждение. Но ведь чем больше в женщине благодати, тем охотнее она с тобой пойдет в густую траву. Какого же черта!.. Виноват, сорвалось. Разве тут дьявол подберется, если она так духом ликует, что благодать из нее просто наружу прет? Уж, кажется, дьяволу к ней ни с какого боку не подступиться! А на деле выходит другое. – Глаза его блеснули от волнения. Он задвигал губами и сплюнул, плевок скользнул по земле, обволакиваясь пылью, и превратился в круглый катышек, похожий на пиллюлю. Проповедник вытянул руку и уставился глазами в ладонь, точно это была книга, которую он читал. – Вот так и получается, – негромко продолжал он. – Так и получается: у меня в руках человеческие души, я за них отвечаю и чувствую, какая это ответственность, а сам после каждого моления ложусь с женщиной. – Он растерянно посмотрел на Джоуда. Его глаза звали о помощи.

Джоуд старательно нарисовал в пыли женский торс – груди, бедра, таз.

– Я проповедником никогда не был, – сказал он, – и потому не зевал, если что в руки шло. И всякими мыслями на этот счет тоже зря не мучился: подвернулась девчонка – и

слава богу.

— В том-то и дело, что ты не проповедник, — стоял на своем Кэйси. — Для тебя женщина — это женщина, и больше ничего. А для меня она — священный сосуд. Я спасал их души. Я за них отвечал. А что получалось? Возликуют они у меня духом, а я их в густую траву.

— Тогда не мешало бы и мне стать проповедником, — сказал Джоуд. Он достал из кармана табак, бумагу и свернул самокрутку. Потом закурил и покосился сквозь дым на Кэйси. — Я уж давно без женщины. Надо наверстывать.

Кэйси продолжал:

— Я себя до того довел, что сна лишился. Идешь на молитвенное собрание и клянешься: воздержусь! Видит бог, сегодня воздержусь! Да какое там!

— Тебе жениться надо, — сказал Джоуд. — У нас жил один проповедник с женой. Иеговиты. Спали наверху. Молиться народ сходил к нам в сарай. Мы, ребята, по ночам подслушивали, как жене доставалось от него после каждого моления.

— Хорошо, что ты мне это сказал, — обрадовался Кэйси. — Я боялся, я один такой. Под конец не вытерпел, бросил все и ушел. С той поры только об этом и думаю. — Он подтянул колени к подбородку и стал выковыривать грязь между пальцами ног. — Спрашиваю самого себя: «И что ты мучаешься? Похоть тебе покоя не дает? Нет, не в похоти дело, а в том, что это грех». Как же так? Благочестия в человеке хоть отбав-



ляй, уж, кажется, греху тут и не подступиться, а ему только и заботы – поскорее бы с себя штаны спустить. – Он мерно похлопывал двумя пальцами по ладони, словно укладывая на нее слова рядышком, одно к другому. – Говорю сам себе: «Может, тут нет никакого греха? Может, все люди такие? Может, зря мы себя хлещем, изгоняем дьявола?» Были у нас такие сестры – возьмут кусок проволоки и нахлестывают себя во всю мочь. И я подумал: может, им это приятно; может, и мне приятно себя мучить? Я лежал тогда под деревом, думал, думал и заснул. Проснулся, смотрю – темно кругом, ночь. Где-то недалеко завывает койот. И вдруг – как это у меня вырвалось, и сам не знаю: «К чертям собачьим! – говорю. – Греха никакого на свете нет, и добродетели тоже нет. А есть только то, что люди делают. Тут одно от другого не оторвешь. Некоторые их дела хорошие, некоторые плохие, вот и все, а об остальном никто судить не смеет». – Кэйси замолчал и поднял глаза от ладони, куда он укладывал свои слова.

Джоуд слушал проповедника с усмешкой, но взгляд у Джоуда был острый, внимательный.

– Дотошный ты человек, – сказал он. – Додумался.

Кэйси заговорил снова, и в голосе его звучала боль и потерянности:

– Я себя спрашиваю: «А что такое благодать, ликование духом?» И отвечаю: «Это любовь. Я людей так люблю, что бывает сердце кровью исходит». И опять спрашиваю: «А Иисуса ты разве не любишь?» Думаю, думаю... «Нет, я тако-

го не знаю. Историй всяких про Него слышал много, а люблю только людей. Сердце исходит кровью от такой любви; хочется мне, чтобы они были счастливые, потому и учу их: может, думаю, у них от этого жизнь станет лучше». А потом... Наговорил я тебе чертову пропасть. Ты, может, удивляешься. проповедник, а сквернословит. Никакого тут сквернословия нет. Так все говорят, и ничего плохого я в этих словах теперь не вижу. Ну да ладно. Мне только еще одну вещь хочется тебе сказать, а то, что я скажу, проповеднику говорить грешно, – значит, я не могу больше проповедовать.

– О чем ты? – спросил Джоуд.

Кэйси несмело взглянул на него.

– Если тебе что не так покажется, ты уж не обижайся, ладно?

– Я обижаюсь, только когда мне нос расквасят, – сказал Джоуд. – Ну, что ты там надумал?

– Думал я про Духа Святого и про Иисуса: «Зачем нам нужно сваливать все на Бога и на Иисуса? Может, это мы людей любим? Может, Дух Святой – это человеческая душа и есть? Может, все люди вкупе и составляют одну великую душу, и частицу ее найдешь в каждом человеке?» Долго я сидел, думал и вдруг сразу все понял. Всем сердцем понял, и так это во мне и осталось.

Джоуд потупился, точно ему было не под силу вынести обнаженную правду в глазах проповедника.

– Да, с такими мыслями ни в какой церкви не удержишь-

ся, – сказал он. – За такие мысли тебя выгонят из наших мест. Людям что надо? Попрыгать да повыть. Это для них самое большое удовольствие. Наша бабка начнет выкрикивать на разные голоса, так никакого сладу с ней нет. Здоровенного причетника кулаком с ног сшибала.

Кэйси в раздумье смотрел на него.

– Хочется мне тебя спросить кое о чем, – сказал он. – Пока мне это не дает.

– Давай спрашивай. Я люблю изредка поговорить.

– Так вот... – медленно начал проповедник. – Я тебя крестил. На меня в тот день благодать сошла. Вещал во славу Господа. Ты, верно, ничего не помнишь, тебе не до того было – девчонку за косы дергал.

– Нет, помню, – ответил Джоуд. – Это была Сузи Литл. Через год она мне палец вывихнула.

– Так вот... Пошло оно тебе на пользу, это крещение? Лучше ты стал – или нет?

Джоуд подумал и сказал:

– Н-нет, я даже ничего не почувствовал.

– Ну а может, тебе это вред принесло? Подумай хорошенько.

Джоуд взял бутылку и отпил из нее.

– Ничего я не почувствовал – ни пользы, ни вреда. Мне тогда весело было, только и всего. – Он протянул бутылку проповеднику.

Кэйси вздохнул, поднес ее ко рту, потом посмотрел на

оставшееся на самом дне виски и сделал еще один маленький глоток.

– Это хорошо, – сказал он. – А то мне все думалось: а вдруг я причинил кому-нибудь вред.

Джоуд взглянул на свой пиджак и увидел, что черепаха выбралась на волю и уже ковыляет в том направлении, в каком ковыляла раньше, когда он подобрал ее. Минуту Джоуд следил за ней, потом медленно встал, поднял ее с земли и снова закутал в пиджак.

– Никаких подарков ребятам не припас, – сказал он. – Хоть вот эту старую черепаху принесу.

– А смешно, – сказал проповедник, – ведь когда ты подошел, я как раз вспоминал старого Тома Джоуда. Думал, уж не зайти ли к нему? Старый Том был богохульник. Как он там поживает?

– Не знаю. Я уж четыре года дома не был.

– А разве он не писал тебе?

Джоуд смутился.

– Отец у нас писать не мастер, да и не любит он этим делом заниматься. Фамилию свою подмахнуть может и карандаш помусолит, все честь честью. А писем не пишет. Он всегда говорил: «Если мне что надо сказать, так я на словах скажу, а нет – значит, нечего и за карандаш браться».

– Бродил все это время? – спросил Кэйси.

Джоуд бросил на него недоверчивый взгляд.

– А ты разве ничего не знаешь? Обо мне писали во всех

газетах.

– Ничего не знаю. А что? – Проповедник закинул ногу за ногу и, упершись спиной в ствол ивы, сел ниже.

Время уже перешло за полдень, и солнце наливалось золотом.

Джоуд сказал добродушно:

– Говорить, так сразу, чтобы покончить с этим. Но будь ты настоящим проповедником, я бы остерегся рассказывать, чтобы тебе не вздумалось молиться надо мной. – Он допил остатки виски и швырнул плоскую темную бутылку в сторону; она легко скользнула по пыли. – Я четыре года просидел в Мак-Алестере.

Кэйси круто повернулся к нему и так насупил брови, что его высокий лоб стал еще выше.

– Тебе неохота об этом говорить? Я не буду расспрашивать, что ты такое сделал.

– Понадобится, опять то же самое сделаю, – сказал Джоуд. – Убил одного молодчика в драке. Дело было на танцах, а мы подвыпили. Он пырнул меня ножом, а я схватил лопату и убил его. Размозжил ему голову.

Брови Кэйси заняли свое обычное положение.

– Значит, тебе стыдиться нечего?

– Нечего, – сказал Джоуд. – Я получил только семь лет, потому что он первый пырнул меня ножом. Через четыре года освободили – условно.

– Значит, родные тебе ничего не писали все четыре года?

– Ну как, писали! В позапрошлом году мать прислала открытку, а этим Рождеством – бабка. И хохот же стоял у нас в камере! Открытка с картинкой. На картинке елка вся в блестках, будто на ней снег. Да еще стихи:

Вот пришло к нам Рождество,  
И у деток торжество.  
Глянь под елку – Дед Мороз  
Нам подарки всем принес.

Бабка, верно, и не видала, что там написано. Купила у разносчика да постаралась выбрать какую понаряднее. Ребята в камере чуть не умерли со смеху. С тех пор так и прозвали меня «деточкой». А бабка прислала не для смеха. Видит – нарядная, ну и ладно, зачем же еще читать. В тот год, когда меня посадили, она потеряла очки. Может, и по сию пору их не нашла.

– А как там с вами обращались, в Мак-Алестере? – спросил Кэйси.

– Да ничего. Кормят по часам, одевают чисто, и помыться есть где. Грех жаловаться. Только без женщин трудно. – Он вдруг рассмеялся. – Одного молодца тоже так освободили, условно. Не прошло и месяца, как он проштрафился и опять попал к нам. Кто-то его спросил, зачем он нарушил обязательство. А он говорит: «Да кой черт! У моего старика дома никаких удобств. Ни электричества, ни душа. Почитать тоже нечего. Еда невкусная. Вернулся, – говорит, – по-

тому, что здесь как-никак и удобства, и кормят по часам. На воле, – говорит, – неуютно, приходится думать, что с собой дальше делать. Ну, увел машину и опять сел в тюрьму». – Джоуд достал из кармана табак, отделил один листок, дунув на книжечку папиросной бумаги, и свернул самокрутку. – Да и правильно, – сказал он. – Я вчера как подумал, где ночь буду спать, так меня даже страх взял. Вспомнил свою койку да одного слабоумного у нас в камере – что-то он сейчас поделявает... Я там играл в оркестре. Хороший был оркестр. Многие говорили, что нам надо выступать по радио. А сегодня утром проснулся и не знаю, вставать или еще рано? Лежу и дожидаясь, когда дадут побудку.

Кэйси хмыкнул.

– К лесопилке и то привыкают. Не слышишь, как пилы визжат, и все будто недостает чего-то.

На пыльно-желтом свету земля отливала золотом. Кукуруза тоже казалась совсем золотой. Стайка ласточек пронеслась в небе, должно быть, к какому-нибудь ручейку поблизости. Черепаха предприняла еще одну попытку совершить побег. Джоуд перегнул посередине козырек кепки. Продольное ребро на козырьке напоминало теперь вороний клюв.

– Ну, надо двигаться, – сказал он. – По жаре идти не очень приятно, да сейчас не так уж печет.

Кэйси выпрямился.

– Я у старого Тома целый век не был, – сказал он. – Давно хочу с ним повидаться. Я ведь сколько времени к вам ходил

со Словом Божиим. Денег никогда не брал, только кормили меня.

– Пошли, – сказал Джоуд. – Отец будет рад. Он всегда говорил: куда такому ернику проповедовать! – Джоуд поднял с земли пиджак и подоткнул его со всех сторон вокруг башмаков и черепахи.

Кэйси пододвинул к себе парусиновые туфли и сунул в них босые ноги.

– Я не такой смелый, как ты, – сказал он. – В пыли не разберешь, того и гляди, напорешься на колючую проволоку или на стекло. Ногу порезать – хуже ничего быть не может.

Они помедлили, прежде чем переступить линию тени, и потом подались вперед, под желтые солнечные лучи, точно два пловца, которые спешат переплыть реку. Сделав несколько быстрых шагов, они убавили ходу и пошли медленно, как бы в раздумье. Кукурузные стебли отбрасывали косые серые тени, в воздухе стоял душный запах нагретой пыли. Кукурузное поле кончилось, уступив место темно-зеленому хлопчатнику. Темно-зеленые листья, покрытые слоем пыли, маленькие, только начинающие формироваться корбочки. Всходы хлопчатника были неровные; в ложбинах, где вода задерживалась дольше, кусты росли густо, на высоких местах поле было совсем плешивое. Хлопчатник отстаивал свою жизнь в борьбе с солнцем. А горизонт затягивало рыжеватой мглой, сквозь которую ничего не было видно. Пыльная дорога стлалась впереди волнистой линией. Ивы,



стоявшие по берегам ручья, сворачивали вслед за ним на запад, а северо-западнее, вплотную к редкому кустарнику, подходил участок неводеланной земли. Пахло раскаленной пылью, и воздух был такой сухой, что слизь в носу подсыхала коркой, а из глаз текли спасительные для роговицы слезы.

Кэйси сказал:

– Смотри, ведь кукуруза хорошо поднималась, пока ее не забило пылью. Богатый урожай бы сняли.

– Каждый год одно и то же, – сказал Джоуд. – Я как себя помню, каждый год ждали урожая – и ни разу не дождались. Дед говорил, что земля только первые пять лет хорошо родила, пока в ней еще оставался перегной от сорняка.

Дорога сбежала вниз по холму и поднялась на следующий.

Кэйси сказал:

– Отсюда до старого Тома не больше мили. По-моему, еще два подъема, а за третьим будет ваш дом.

– Правильно, – сказал Джоуд. – Если только его не украли, как в свое время отец украл.

– Дом украл?

– Да. Приволокли его мили за полторы отсюда. Хозяева, те, что там жили, переехали на другое место. Дед, отец и Ной, мой брат, хотели перетащить весь дом, да не удалось. Только половиной и завладели. Потому он у нас и чудной такой с одного боку. Они распилили его на две части, впрягли двенадцать лошадей и пару мулов и одну половину приволокли на наш участок. Вернулись за второй, чтобы пристроить ее к

первой, да Уинк Мэнли их опередил, явился туда со своими ребятами и спер, что осталось. Отец с дедом первое время из себя выходили, а потом как-то выпили вместе с Уинком и ну хохотать. Уинк говорит, его дом сейчас в охоте, приводите, говорит, ваш, случим их, может, нужников нам наплодят. Уинк, когда выпьет, боевой старик. После этого отец и дед с ним подружились. Чуть что, так и выпивать вместе.

– Том молодчина, – подтвердил Кэйси. Они спустились под уклон, вздымая пыль ногами, и на подъеме замедлили шаги. Кэйси вытер лоб рукавом и снова надел шляпу. – Да, Том молодчина, – повторил он. – Богохульник, а все-таки молодчина. Помню, на молениях возликует духом самую малость, а прыгает чуть не до потолка. Уж если на старого Тома накатило, так не зевай, того и гляди, ногами затопчет. Что твой жеребец в стойле.

Они одолели еще один подъем, и дальше дорога пошла вниз к извилистому руслу ручья, исполосованному по краям вливавшимися в него когда-то струйками воды. Переход был сложен из камней. Осторожно ступая босыми ногами, Джоуд перебрался на другую сторону.

– Отец это что! – сказал он. – Ты бы видел дядю Джона, когда его крестили на молении у Поулков. Прыгает, скачет из стороны в сторону. Перемахнул через куст высотой с пианино. Разбежался – и еще раз, и завывает, как собака на луну. Отец увидел это, – а ведь он считал себя лучшим прыгуном во всей округе, – облюбовал куст еще выше, взвыл не своим

голосом, будто свинья, которая битым стеклом опоросилась, перескочил с разбегу через этот куст, да правую ногу и вывихнул. Тут с него благодать как рукой сняло. Проповедник хочет помолиться, чтобы нога зажила, а отец говорит: нет, к черту, подавай доктора! Ну, доктора не было, привели проезжего зубодера, он ему и вправил кость. А проповедник так и не отстал, помолился, взял свое.

По ту сторону ручья начинался небольшой подъем. Теперь, когда солнце клонилось к западу, жара начала спадать, и, хотя воздух был все еще раскаленный, солнечные лучи немного умили свою силу. По краям дороги стояли все такие же кривые колья с протянутой между ними проволокой. Справа изгородь делила поле на две части, но хлопчатник был одинаковый как по ту, так и по другую ее сторону – сухой, темно-зеленый, запорошенный пылью.

Джоуд показал на изгородь:

– Вот это наше. По сути дела, изгородь здесь ни к чему, но проволока у нас была, и отцу захотелось огородить поле. Говорит: по крайней мере чувствуешь – что мое, то мое. Этой проволоке у нас бы и взяться неоткуда, да как-то ночью дядя Джон привез целых шесть мотков. Выменял у отца на свинью. Где он эту проволоку раздобыл, бог его знает.

Они убавили шаг на подъеме и шли, волоча ноги по глубокой мягкой пыли и чувствуя, как подошвы ступают по твердой земле. Глаза у Джоуда стали задумчивые. Он точно посмеивался про себя, вспоминая что-то.

– Чудак у нас дядя, – сказал он. – Вот взять хотя бы эту свинью, – и, фыркнув, замолчал.

Кэйси ждал, еле сдерживая нетерпение. Рассказа не последовало. Кэйси дал Джоуду достаточно времени на то, чтобы собраться с мыслями, и наконец, не выдержав, раздраженно спросил:

– Ну, так что же твой дядя сделал с этой свиньей?

– Что? А, да! Он ее прирезал тут же и велел матери заготовить плиту. Потом вырезал отбивных, положил их на сковороду и поставил на огонь, а ребра и окорок – в духовку. Отбивные съел, а тем временем ребра были готовы; ребра съел – окорок поджарился. Принялся он за этот окорок: отхватит кусище – и в рот. Мы, ребята, от него не отходим, кланчим, – ну он угостил нас; а отцу не дал ни кусочка. Наконец так объелся, что стошнило; делать нечего – завалился спать. Пока спал, мы с отцом окорок прикончили. Утром дядя Джон встает и второй окорок в духовку. Отец его спрашивает: «Джон, неужто ты всю тушу собираешься съесть?» А он говорит: «Собираюсь, Том, только боюсь, как бы она не протухла, прежде чем я ее одолею. Возьми немного себе, а мне верни два мотка проволоки». Ну, отец не дурак был. Пусть, мол, обжирается. Дяде Джону уезжать пора, а свинина только наполовину съедена. Отец говорит: «Ты бы ее засолил». Но дядя Джон, он такой: захочет свинины, так подавай ему целую свинью, а наелся – глаза бы на нее не глядели. Уехал, а что осталось, отец засолил.

Кэйси сказал:

– Если бы я по-прежнему был проповедником, сейчас бы вывел из этого урок и прочел бы тебе проповедь.

Но больше проповедей от меня никто не услышит. Как ты думаешь, почему он так сделал?

– Не знаю, – ответил Джоуд. – Жаден был до свинины. А я сейчас вспомнил и сам разохотился. За все четыре года только четыре куска жареной свинины и съел – по одному на Рождество.

Кэйси сказал напыщенным тоном:

– Может быть, Том зарежет откормленного тельца для своего блудного сына, как в Писании?

Джоуд презрительно рассмеялся:

– Ты отца не знаешь. Когда он режет курицу, так от нее не столько крику, сколько от него самого. Не может он этого делать. Свинью всегда бережет к Рождеству, а она в сентябре сдохнет от какой-нибудь болезни, и есть нельзя. Зато дядя Джон захочет свинины, так наестся до отвала, можете не сомневаться.

Они поднялись на гребень холма и увидели внизу ферму Джоудов. И Том Джоуд остановился.

– Тут что-то не то, – сказал он. – Посмотри-ка на дом. Неладно дело. И не видать никого.

Они стояли, глядя вниз, на небольшую кучку строений.

Хозяева земли приезжали на свою землю, но чаще всего они присылали вместо себя посредников. Посредники являлись в закрытых машинах, они перетирали пальцами щепотки сухой земли, а иногда загоняли в почву земляной бур и брали пробу. Сидя в спаленных солнцем палисадниках, арендаторы тревожно следили за машинами, снующими по полям. А потом посредник въезжал во двор фермы и, не выходя из автомобиля, заводил разговор через окно кабины. Первые несколько минут арендаторы стояли рядом с машиной, потом присаживались на корточки и, подобрав с земли прутик, выводили им узоры в пыли.

В открытые двери выглядывали женщины, а из-за их спин – дети. Светлоголовые дети стояли, широко открыв глаза, потирая одну босую ногу о другую, шевеля пальцами. Женщины и дети присматривались к мужчинам, которые разговаривали с посредниками. Они стояли молча.

Хозяева и их агенты бывали разные; некоторые говорили мягко, потому что им было тяжело делать то, что они делали; другие сердились, потому что им было тяжело проявлять жестокость; третьи держались холодно, потому что они давно уже поняли: хозяин должен держаться холодно, иначе ты не настоящий хозяин. И все они подчинялись силе, превосходящей силу каждого из них в отдельности. Некоторые

ненавидели математику, которая заставляла их прийти сюда, другие боялись ее; а были и такие, кто преклонялся перед этой математикой, потому что, положась на нее, можно было не думать, можно было заглушить в себе всякое чувство. Если землей владел банк или трест, посредник говорил: банку, тресту нужно то-то и то-то; банк, трест настаивает, требует... – словно банк или трест были какие-то чудовища, наделенные способностью мыслить и чувствовать, чудовища, поймавшие их в свою ловушку. Они, агенты, не отвечали за действия банков и трестов, – они были всего лишь люди, рабы, а банк – он и машина, он и повелитель. Кое-кто из агентов даже гордился тем, что они в рабстве у таких холодных и могучих повелителей. Агенты сидели в машинах и разъясняли людям: вы же знаете, земля истощена. Сколько лет вы здесь копаетесь, и не запомнишь.

Арендаторы, присевшие на корточки, кивали головой, думали, выводили узоры в пыли, – да, знаем, да... Если б только поля не заносило пылью, если б только почва не выветривалась, тогда еще можно было бы терпеть.

Агенты гнули свое: вы же знаете, земля истощается год от года. Вы же знаете, что делает с ней хлопок, – губит ее, высасывает из нее все соки.

Арендаторы кивали головой: они знают, они всё знают. Если бы применять севооборот, тогда земля снова напиталась бы соками.

Да, но теперь уж поздно. И агенты разъясняли махинации

и расчеты чудовища, которое было сильнее их самих. Арендатор может продержаться на земле, даже если ему хватает только на прокорм и на уплату налогов.

Да, правильно. Но если выпадет неурожайный год, он должен будет взять ссуду в банке.

А банку или тресту нужно другое, ведь они дышат не воздухом, они едят не мясо. Они дышат прибылью; они едят проценты с капитала. Если им не дать этого, они умрут, так же как умрем мы с вами, если нас лишат воздуха, лишат пищи. Грустно, но что поделаешь. Поделаться ничего нельзя.

Люди, присевшие на корточки, поднимали глаза, силясь понять, в чем тут дело. Дайте нам время. Может, следующий год будет урожайный. Разве сейчас угадаешь, какой родится хлопок? А войны? Разве сейчас угадаешь, какие будут цены на хлопок? Ведь из него делают взрывчатые вещества. И обмундирование. Будут войны – и цены на хлопок подскочат. Может, в следующем же году. Они вопросительно поглядывали на своих собеседников.

На это нельзя рассчитывать. Банк – чудовище – должен получать прибыль все время. Чудовище не может ждать. Оно умрет. Нет, уплату налогов задерживать нельзя. Если чудовище хоть на минуту остановится в своем росте, оно умрет. Оно не может не расти.

Холеные пальцы начинали постукивать по оконной раме кабины, заскорузлые пальцы крепче сжимали снующие в пыли пруттики. Женщины в дверях спаленных солнцем доми-



шек вздыхали, переступали с ноги на ногу, а та ступня, что была внизу, теперь потирала другую ступню, а пальцы шевелились по-прежнему. Собаки подходили к машине, обнюхивали ее и одно за другим поливали все четыре колеса. Куры лежали в нагретой солнцем пыли, распушив перья, чтобы сухая пыль проникла до самой кожи. А в хлеву, над мутной жижей в кормушках, недоуменно похрюкивали свиньи.

Люди, сидевшие на корточках, снова опускали глаза. Чего вы от нас хотите? Нельзя же уменьшить нашу долю с урожая, мы и так голодаем. Дети никогда не наедаются досыта. Нечего надеть – ходим в лохмотьях. Не будь и у соседей так же плохо с одеждой, мы бы постыдились показываться на молитвенных собраниях.

И наконец агенты выкладывали все начистоту. Аренда больше не оправдывает себя. Один тракторист может заменить двенадцать-четырнадцать фермерских семей. Плати ему жалованье – и забирай себе весь урожай. Нам приходится так делать. Мы идем на это неохотно. Но чудовище занемогло. С чудовищем творится что-то неладное.

Вы же загубите землю хлопком.

Мы это знаем. Мы снимем несколько урожаев, пока земля еще не погибла. Потом мы продадим ее. В восточных штатах найдется немало людей, которые захотят купить здесь участок.

Арендаторы поднимали глаза, во взгляде у них была тревога. А что будет с нами? Как же мы прокормим и себя, и

семью?

Вам придется уехать отсюда. Плуг пройдет прямо по двору.

И тогда арендаторы, разгневанные, выпрямлялись во весь рост. Мой дед первый пришел на эту землю, он воевал с индейцами, он прогнал их отсюда. А отец здесь родился, и он тоже воевал – с сорняками и со змеями. Потом, в неурожайный год, ему пришлось сделать небольшой заем. И мы тоже родились здесь. Вот в этом доме родились и наши дети. Отец взял ссуду. Тогда земля перешла к банку, но мы остались и получали часть урожая, хоть и небольшую.

Нам это хорошо известно – нам все известно. Мы тут ни при чем, это все банк. Ведь банк не человек. И хозяин, у которого пятьдесят тысяч акров земли, – он тоже не человек. Он чудовище.

Правильно! – говорили арендаторы. Но земля-то наша. Мы обмерили ее и подняли целину. Мы родились на ней, нас здесь убивали, мы умирали здесь. Пусть земля оскудела – она все еще наша. Она наша потому, что мы на ней родились, мы ее обрабатывали, мы здесь умирали. Это и дает нам право собственности на землю, а не какие-то там бумажки, исписанные цифрами.

Жаль, но что поделаешь. Мы тут ни при чем. Это все оно – чудовище. Ведь это банк, а не человек. Да, но в банке сидят люди.

Вот тут вы не правы, совершенно не правы. Банк – это

нечто другое. Бывает так: людям, каждому порознь, не по душе то, что делает банк, и все-таки банк делает свое дело. Поверьте мне, банк – это нечто большее, чем люди. Банк – чудовище. Сотворили его люди, но управлять им они не могут.

Арендаторы негодовали: дед воевал с индейцами, отец воевал со змеями из-за этой земли. Может, нам надо убить банки – они хуже индейцев и змей. Может, нам надо воевать за эту землю, как воевали за нее отец и дед?

После таких слов приходилось негодовать агентам. Вам придется уехать отсюда.

Но ведь земля наша, кричали арендаторы. Мы...

Нет. Хозяин земли – банк, чудовище. Вам придется уехать.

Мы выйдем с ружьями, как выходил дед навстречу индейцам. Тогда что?

Ну что ж, сначала шериф, потом войска. Если вы останетесь здесь, вас обвинят в захвате чужой земли, если вы будете стрелять, вас обвинят в убийстве. Банк – чудовище, не человек, но он может заставить людей делать все, что ему угодно.

А если уходить, то куда? Как мы уйдем? У нас нет денег.

Очень жаль, но что же поделаешь, говорили агенты. Банк, владелец пятидесяти тысяч акров, тут ни при чем. Вы сидите на земле, которая вам не принадлежит. Поезжайте в другой штат, может, осенью устройтесь на сбор хлопка. Может, станете на пособие. А почему бы вам не податься в Калифор-

нию? Там всегда есть работа, там не бывает холодов. Да в Калифорнии стоит только протянуть руку – и рви апельсины. Там урожаи собирают круглый год. Почему бы вам не переселиться туда? Машины трогались с места, и посредники уезжали.

Арендаторы снова присаживались на корточки и водили прутиками по пыли, прикидывали, думали. Лица у них были темные от загара, глаза выцветшие на ярком свету. Женщины осторожно спускались с крылечка и шли к мужьям, а позади женщин крались дети, готовые чуть что пуститься наутек. Мальчишки постарше присаживались на корточки рядом с отцами – так солиднее, чувствуешь себя взрослым мужчиной. Подождав немного, женщины спрашивали: зачем он приезжал?

Мужчины поднимали глаза, и в глазах у них была боль. Придется уезжать отсюда. Трактор, управляющий. Как на фабрике.

– Куда же мы поедem? – спрашивали женщины.

Не знаем. Не знаем.

И женщины быстро и молча шли назад к дому, гоня перед собой детей. Они знали: когда мужчина так обижен, так потерян, он может сорвать злобу даже на тех, кто ему дорог. Они уходили, оставляя мужчин одних, – пусть думают, пусть вырисовывают свои мысли в пыли.

И через минуту-другую арендатор оглядывался вокруг себя – смотрел на поставленную еще десять лет назад водокач-

ку с длинным, точно гусиная шея, насосом и узорчатой насечкой на рыльце, на колоду, где сложила голову не одна сотня кур, на плуг под навесом и на подвешенное к стропилам корыто.

А дома женщин окружали дети. Что же мы будем делать, мама? Куда мы теперь поедем?

Женщины отвечали: мы еще ничего не знаем. Идите играть. Только держитесь подальше от отца. Не то он побьет. И женщины снова принимались за работу, но, и работая, не переставали следить за мужьями, которые сидели на корточках в пыли, тревожно думали, прикидывали, как быть.

Тракторы двигались по дорогам и сворачивали в поля – громадные гусеничные тракторы ползли, как насекомые, и они обладали невероятной прожорливостью насекомых. Тракторы ползли по полям, уминали гусеницами землю и взрывали большие ее пласты дисками. Дизельные тракторы останавливались, но мотор не переставал фыркать; они трогались с места и поднимали рев, который постепенно переходил в однотонный гул. Тупоносые громадины обволакивались пылью, они шли напрямик из одного конца поля в другой, сквозь изгороди, через дворы, ныряли в овраги, не отклоняясь от своего пути. Там, где они идут, там и есть для них дорога. Им все нипочем – холмы и рытвины, канавы, изгороди, дома.

Человек на железном сиденье не был похож на человека: перчатки, очки, резиновая маска, защищающая от пыли рот

и нос, — он казался придатком этой громадины, роботом. Рев цилиндров разносился по всей округе; он пронизывал воздух и землю, они отвечали ему гулом и сотрясались с ним в лад. Тракторист не был властен над своей машиной — она шла напрямик, шла по участкам, поворачивала и также напрямиком возвращалась обратно. Легкое движение рычага — и гусеничный трактор отклонился бы от своего пути, но рука тракториста не могла сделать это движение, потому что чудовище, создавшее трактор, чудовище, пославшее его сюда, владело руками тракториста, его мозгом, его мускулами; оно обрядило тракториста в наглазники, в намордник, затемнило наглазниками его разум, приглушило намордником его речь, затемнило его сознание, приглушило слова протеста. Он видел землю не такой, какой она была на самом деле, он не мог вдохнуть в себя ее запах; его ноги не разминали комьев этой земли, он не чувствовал ее тепла, ее силы. Он сидел на железном сиденье, его ноги стояли на железных педалях. Он не мог ни подбадривать, ни бить, ни осыпать бранью, ни подогнать это существо, увеличивающее его силу, и поэтому он не мог ни подбодрить, ни подстегнуть, ни осыпать бранью, ни подогнать самого себя. Он не знал этой земли, не владел ею, он не верил в нее, не вымаливал у нее милостей. Если брошенное семя не давало ростков, его это не касалось. Если молодые побеги вяли в засуху или гибли от проливных дождей, трактористу до этого было столько же дела, сколько и самому трактору. Он любил эту землю не больше, чем ее любили

банки. Он мог восхищаться трактором – его отработанными плоскостями, его мощностью, ревом его цилиндров; но этот трактор не принадлежал ему. Позади трактора шли сверкающие диски, они вспарывали землю острыми краями, – не вспашка, а хирургия. Поднятый пласт падал направо, а второй ряд дисков резал его и отваливал налево; лезвия сверкали, отполированные до блеска свежевзрезанной землей. А следом за диском шли бороны, они разбивали железными зубьями небольшие комья, прочесывали землю, разравнивали ее. За бороной сеялка – двенадцать железных детородных членов, выкованных на сталелитейном заводе, совокупляющихся с землей по велению механизмов, без любви, без страсти. Тракторист сидел на железном сиденье и гордился проложенными не по его воле прямыми бороздами, гордился чужим, не дорогим ему трактором, гордился силой, над которой он не был властен. А когда урожай созревал и его собирали, никто не разминал горячих комьев, никто не пересыпал землю между пальцами. Ничьи руки не касались этих семян, никто с трепетом не поджидал всходов. Люди ели то, что они не выращивали, между ними и хлебом не стало связующей нити. Земля рожала под железом – и под железом медленно умирала; ибо ее не любили, не ненавидели, не обращались к ней с молитвой, не слали ей проклятий.

В полдень тракторист останавливался у фермерского домика и доставал завтрак: сэндвич, завернутый в вощеную бумагу, – белый хлеб с маринованным огурцом, сыром и колба-

сой, кусок пирога, отштампованный, как машинная деталь. Он ел без удовольствия. А не выселенные еще арендаторы подходили посмотреть на него, с любопытством следили, как он снимает очки и резиновую маску, под которыми остались белые круги около глаз и большой белый круг около носа и рта. Выхлопная труба продолжала пофыркивать, потому что горячее стоило гроши, – какой смысл выключать мотор и каждый раз прогревать дизель? Любопытные дети толпились вокруг – оборванные дети, сжимающие в кулачках лепешки. Они следили голодными глазами, как тракторист разворачивает сандвич, принимавались заострившимися от голода носиками к запаху огурцов, сыра, колбасы. Они не заговаривали с трактористом. Они провожали глазами его руку, подносящую пищу ко рту. Они не смотрели, как он жует; их глаза не отрывались от руки с сандвичем. А вскоре и арендатор, который не хотел покидать свой участок, подходил сюда и присаживался на корточки в тени трактора.

– Да ведь ты сын Джо Дэвиса?

– Он самый, – отвечал тракторист.

– Зачем же ты пошел на такую работу – против своих же?

– Три доллара в день. Надоело пресмыкаться из-за куска хлеба и жить впроголодь. У меня жена, дети. Есть-то надо. Три доллара в день, и работа постоянная.

– Это все верно, – говорил арендатор. – Но из-за твоих трех долларов пятнадцать, двадцать семейств сидят совсем голодные. Чуть ли не сотня людей снялась с места и мыкает-



ся по дорогам. Все из-за твоих трех долларов в день. Разве это справедливо?

И тракторист отвечал:

– Это не мое дело. Мое дело думать о своих ребятишках. Три доллара в день, и работа постоянная. Теперь другие времена, пора бы тебе это знать. Если у тебя нет двух, пяти, десяти тысяч акров и трактора, на земле не продержишься. Такой мелкоте, как мы с тобой, нечего и думать о своем участке. Ты ведь не станешь ворчать, что тебе нельзя выпускать «форды» или заправлять телефонной компанией. То же и с землей. Ничего не поделаешь. Подыскивай лучше где-нибудь работу на три доллара в день. Больше нам ничего не остается.

Арендатор задумчиво говорил:

– Чудно как-то! Есть у человека небольшой участок, и он с этим участком одно целое, их не отделишь один от другого. Если ты ходишь по своему участку, трудишься на нем, горюешь, когда урожай плохой, радуешься, что дождь выпал вовремя, тогда ты со своей землей одно целое и ты сам становишься сильнее, потому что у тебя есть земля. Пусть удача к тебе не идет, все равно ты становишься сильнее. Это всегда так.

И арендатор продолжал думать вслух:

– А если участок большой и глаза твои никогда его не видели, пальцы никогда не разминали комьев, если ты не ступал по нему ногами, тогда хозяином становится не человек,

а земля. Человек больше сам в себе не волен и в мыслях своих не волен. Земля сильнее, она хозяин. А человек становится маленьким. Владения его велики, а сам он маленький и только прислуживает им. Это всегда так.

Тракторист дожевывал отштампованный кусок и швырял корку в сторону.

– Времена другие, пора бы тебе понять это. С такими мыслями ребят не прокормишь. Зарабатывай три доллара в день, корми семью. Печалиться о чужих детишках не твое дело. А если узнают, что ты тут болтаешь, не видать тебе этих трех долларов. Надо думать только о трех долларах в день и ни о чем другом, иначе хозяева не дадут тебе их.

– Из-за твоих трех долларов чуть не сотня людей мыкается по дорогам. Куда нам деваться?

– Ты кстати об этом вспомнил. Съезжайте-ка вы поскорее. После обеда я начну запахивать ваш двор.

– Колодец ты уже завалил сегодня утром.

– Знаю. Борозду надо держать прямо. Пообедаю и запахаю двор. Борозда должна быть прямая. И вот еще что... Раз уж ты знаешь моего старика, Джо Дэвиса, я, так и быть, скажу. Если арендатор еще не выехал, у меня на этот счет особое распоряжение... Мало ли что случается... сам знаешь: подъехал к дому слишком близко, задел его трактором самую малость... Получу за это лишние два-три доллара. Мой младший сынишка еще в жизни своей не носил башмаков.

– Я собственными руками построил этот дом. Выпрямлял

старые гвозди для обшивки, прикручивал проволокой стро-пила. Дом мой. Я сам его строил. Только попробуй его заце-пить. Я стану у окна с ружьем. Только попробуй подъехать поближе, я тебя пристрелю, как кролика.

– Я тут ни при чем. От меня ничего не зависит. Не выпол-ню распоряжения – выгонят с работы. А ты... ну, положим, ты меня убьешь. Тебя повесят, а до того как ты будешь бол-таться на виселице, сюда придет другой тракторист и свалит твой дом. Не того ты собираешься убивать, кого нужно.

– Это правильно, – говорил арендатор. – А кто так распо-рядился? Я до него доберусь... Вот кого надо убить.

– Опять ошибаешься. Он сам получил такой приказ от банка. Банк сказал ему: «Всех выселить, не то слетишь с ра-боты».

– Значит, директор банка... Или правление. Заряжу ру-жье и пойду в банк.

Тракторист говорил:

– Мне один рассказывал – банк получил распоряжения с востока. Распоряжения были такие: «Добейтесь доходов с земли, иначе мы вас прихлопнем».

– Где же конец? В кого тогда стрелять? Прежде чем по-дохнуть с голоду, я еще убью того человека, который довел меня до голодной смерти.

– Не знаю. Может, стрелять и не в кого. Может, люди тут не виноваты. Может, верно ты говоришь, что земля сама ими распоряжается. Во всяком случае, я тебя предупредил.

– Надо подумать, – говорил арендатор. – Нам всем надо подумать, как быть дальше. Должен же быть способ положить этому конец. Это ведь не молния, не землетрясение. Кто творит нехорошие дела? Люди. Значит, это можно изменить.

Арендатор уходил на крыльцо, а тракторист запускал мотор и ехал дальше. За трактором тянулись борозды, железные зубья прочесывали землю, детородные члены сеялки роняли в нее семена. Трактор пересекал двор, и твердая, утоптанная земля становилась засеянным полем. Трактор поворачивал. Невспаханная полоса сужалась до десяти футов. Он снова шел назад. Железное крыло касалось угла дома, крушило стену, срывало дом с фундамента, и он валился набок, раздавленный, точно букашка. Тракторист был в очках, резиновая маска закрывала ему нос и рот. Трактор шел напрямик, земля и воздух дрожали, откликаясь на рокот его мотора. Арендатор смотрел ему вслед с ружьем в руках. Рядом с ним стояла жена, а позади них – притихшие дети. И все они смотрели вслед трактору.

Проповедник Кэйси и Том стояли на холме и глядели вниз, на ферму Джоудов. Маленький неоштукатуренный домишко был проломлен с одного угла и сдвинут с фундамента; он завалился набок и смотрел слепыми окнами в небо – много выше линии горизонта. Изгородь была снесена, и хлопчатник рос на самом дворе, хлопчатник подходил вплотную к дому, окружал сарай. Уборная тоже лежала на боку, хлопчатник рос и возле нее. Двор, утоптаный босыми ногами ребятишек, лошадиными копытами и широкими колесами фургона, был вспахан, засеян, и на нем поднимались теперь темно-зеленые пыльные кусты хлопчатника. Том Джоуд долго смотрел на кряжистую иву рядом с разохнувшейся водопойной колодой, на бетонное основание для колодезного насоса...

– Господи! – сказал он наконец. – Что тут стряслось? Будто нежилое место.

Он быстро зашагал под откос, и Кэйси последовал за ним. Он заглянул в сарай, – там было пусто, осталась только соломенная подстилка на полу; заглянул в стойло для мулов. И пока он стоял там, на полу что-то зашуршало – мышинный выводок бросился врассыпную, прячась от него под соломой. Джоуд остановился у входа в пристройку для инвентаря и увидел там только сломанный лемех, клубок спутанной про-

волоки в углу, железное колесо от сеноворошилки, изъеденный мышами хомут, плоскую жестянку из-под машинного масла, покрытую слоем маслянистой грязи, и рваный комбинезон на гвозде.

– Ничего не осталось, – сказал Джоуд. – А инвентарь был хороший. Ничего не осталось.

Кэйси сказал:

– Будь я и по сию пору проповедником, я бы рассудил так: это десница Божия вас покарала. А сейчас просто не знаю, что и подумать. Я здесь давно не был. Ничего такого не слышал.

Они пошли к колодцу, пошли к нему по вспаханной и засеянной земле, пробираясь сквозь кусты хлопчатника, на которых уже завязывались коробочки.

– Мы здесь никогда не сеяли, – сказал Джоуд. – У нас во дворе грядок не было. А сейчас тут с лошадьё и не повернешься, сразу все затопчет.

Они остановились у старой, рассохшейся колоды. Травы, которая всегда растет в таких местах, под ней уже не было, и сама колода рассохлась и дала трещину. Болты, на которых раньше держался насос, торчали наружу, резьба их покрылась ржавчиной, гайки были отвинчены. Джоуд заглянул в колодец, плюнул и прислушался. Бросил туда комок земли и снова прислушался.

– Хороший колодец был, – сказал он. – А сейчас без воды. – Ему, видимо, не хотелось заходить в дом. Он стоял у

колодца и бросал туда комок за комком. – Может, все умерли? – сказал он. – Да я бы услышал об этом. Уж как-нибудь да услышал.

– Может, в доме оставлено письмо или еще что-нибудь? Они ждали тебя?

– Не знаю, – ответил Джоуд. – Навряд ли. Я сам только за несколько дней до выхода узнал, что меня отпускают.

– Пойдем в дом, посмотрим. Вон он как покосился. Будто кто своротил его.

Они медленно пошли к осевшему дому. Два столбика, поддерживавшие слева навес над крыльцом, были выворочены, и навес касался одним краем земли. Угол дома был проломлен. Сквозь расщепленные доски можно было заглянуть в угловую комнату. Входная дверь стояла открытой внутрь, низкая дверца перед ней, едва державшаяся на кожаных петлях, была распахнута наружу.

Джоуд стал на нижнюю приступку крыльца – толстый брус, двенадцать на двенадцать дюймов.

– Приступка на месте, – сказал он. – Уехали или мать умерла. – Он протянул руку к низкой дверце. – Будь здесь мать, так бы не болталась. Что другое, а это мать всегда помнила – следила, чтобы дверца была на запоре. – Взгляд у него потеплел. – Все с тех пор, как у Джейкобсов свинья сожрала ребенка. Милли Джейкобс ушла зачем-то в сарай. Вернулась домой, а свинья ребенка уже доедает. Милли тогда была беременная; что с ней делалось – просто себя не помнила. Так

с тех пор тронутая и осталась. А мать это на всю жизнь запомни-да – чуть из дому, так дверцу сейчас же на крючок. Никогда не забывала... Да... или уехали... или умерли. – Он поднялся на развороченное крыльцо и заглянул в кухню. Окна там были все перебиты, на полу валялись камни, стены и пол прогнулись, повсюду тонким слоем лежала пыль. Джоуд показал на разбитые стекла и камни. – Это ребята, – сказал он. – Они двадцать миль пробегут, только бы швырнуть камнем в окно. Я сам такой был. Ребята всегда пронюхают, где есть нежилой дом. Стоит только людям выехать, они уж тут как тут.

В кухне было пусто, плита вынесена, в круглую дыру дымохода проникал дневной свет. На полочке над умывальником лежали штопор и сломанная вилка без черенка. Осторожно ступая, Джоуд прошел в комнату, и половицы застонали под его тяжестью. На полу около самой стены валялся старый номер филадельфийской газеты «Леджер» с пожелтевшими, загнутыми по углам страницами. Джоуд заглянул в спальню: ни кровати, ни стульев – пусто. На стене – цветная иллюстрация: девушка-индианка, подпись: «Алое Крыло». В одном углу железная перекладина от кровати, в другом – высокий женский башмак на пуговицах, с задраным кверху носком и с дырой на подъеме. Джоуд поднял его и осмотрел со всех сторон.

– Это я помню, – сказал он. – Мать сколько лет их носила. Ее любимые башмаки... Совсем развалились. Да, ясно –



уехали и все с собой забрали.

Солнце садилось, и теперь его лучи падали прямо в окна и поблескивали на битом стекле. Джоуд повернулся и вышел из комнаты на крыльцо. Он сел, поставив босые ноги на широкую приступку. Вечернее солнце освещало поля, кусты хлопчатника отбрасывали на землю длинные тени, и около старой ивы тоже протянулась длинная тень.

Кэйси присел рядом с Джоудом.

– Неужели они тебе ничего не писали? – спросил он.

– Нет. Я же говорил, не мастера они писать. Отец умеет, да не любит. Письмо – это для него хуже нет, мурашки, говорит, по телу бегают. Заказ выписать по прейскуранту – выпишет, а письмо написать – ни за что.

Они сидели, глядя вдаль, на поля. Джоуд положил пиджак рядом с собой. Его освободившиеся руки свернули самокрутку, разгладили ее; он закурил, глубоко затянулся и выпустил дым через нос.

– Тут что-то неладно, – сказал он. – А в чем дело, не пойму. Чудится мне, что неладно. Дом на боку, все уехали.

Кэйси сказал:

– Вон там подальше канава, в которой я вас крестил. Ты мальчишка неплохой был, только с норовом. Вцепился девочке в косы, как бульдог. Мы вас крестить во имя Духа Святого, а ты косу держишь и не выпускаешь. Том говорит: «Окуни его с головой». Я толкаю тебя под воду, а ты разжал руки, когда уж пузыри начал пускать. Неплохой был, только

с норовом. А из таких вот норовистых часто хорошие, смелые люди вырастают.

Тощая серая кошка, крадучись, вышла из сарая, пробралась сквозь кусты хлопчатника и подошла к дому. Она бесшумно вспрыгнула на крыльцо и на согнутых лапах подкралась к людям. Потом обошла их, села между ними, чуть позади, и вытянула вздрагивающий кончиком хвост. Кошка сидела, глядя вдаль, туда же, куда глядели и люди.

Джоуд обернулся.

– Э-э! Смотри! Кто-то все-таки остался. – Он протянул руку, но кошка метнулась от него, села подальше и, подняв лапку, стала лизать подушечки. Джоуд удивленно смотрел на нее. – Теперь знаю, какая здесь беда приключилась! – вдруг крикнул он. – Это кошка меня надоумила.

– Приключилась беда, да не одна, – сказал Кэйси.

– Да! Значит, это не только у нас на ферме. Почему кошка не ушла к соседям – к Рэнсам? И почему обшивку с дома не содрали? Дом пустует месяца три-четыре, а все в целости. Сарай из хороших досок, на доме тес тоже неплохой, оконные рамы целы – и никто на это не позарился. Так не бывает. Вот над этим я и ломал голову, никак не мог понять, в чем тут дело.

– И что же ты надумал? – Кэйси нагнулся, снял туфли и пошевелил длинными босыми пальцами.

– Сам толком не знаю. Похоже, тут и соседей никого не осталось. Иначе бы доски не уцелели. Помню, как-то на Рож-

дество Альберт Рэнс уехал в Оклахому – собрался всем домом, с ребяташками, с собаками. Поехали погостить к его двоюродному брату. А соседи решили, что Альберт совсем удрал и никому не сказался, – может, от кредиторов или женщина какая его донимала. Через неделю приезжает он обратно, а в доме чисто: ни плиты, ни кроватей, ни оконных рам, обшивку и то ободрали с южной стороны, в комнату хоть со двора заглядывай – прореха в восемь футов. Он подъехал к дому, а Мьюли Грейвс в это время двери и колодезный насос вывозит. Альберт потом недели две ходил по соседям, собирал свое добро.

Кэйси с наслаждением почесывал босые ступни.

– И никто не стал спорить? Так все и отдали?

– Конечно отдали. Воровать никто не хотел. Думали, он уехал совсем, ну и взяли, кому что надо. Он все получил, кроме диванной подушки – бархатной, на ней индеец был вышит. Альберт требовал ее с нашего деда. В нем, говорит, индейская кровь, вот подушка ему и приглянулась. Что верно, то верно, подушку забрал наш дед, но не потому, что там индеец. Понравилась, и все тут. Везде ее таскал за собой, где сядет, под себя подсовывает. Так и не отдал Альберту. Говорил: «Если уж он без этой подушки не может жить, пусть приходит. Только без ружья чтобы не являлся, я стрелять буду, башку ему снесу, если он попырует сунуться ко мне за моей подушкой». В конце концов Альберт сдался и подарил деду подушку. А у деда из-за нее ум за разум зашел.

Начал собирать куриные перья. Задумал целую перину себе сделать. Только ничего из этого не вышло. Завелась у нас под домом вонючка. Отец прихлопнул ее доской, а мать сожгла все перья, чтобы вонь отбить. Не то просто хоть беги из дому. — Джоуд рассмеялся. — Дед у нас крутой старикан. Сидит себе на подушке, — пусть, говорит, Альберт приходит за ней. Я, говорит, этого болвана наизнанку выверну, как штаны.

Кошка снова подкралась поближе к людям. Она сидела, вытянув хвост, усы у нее вздрагивали. Солнце едва отделялось от линии горизонта, пыльный воздух казался золотисто-красным. Кошка протянула серую лапку и осторожно тронула сверток Джоуда. Джоуд оглянулся.

— Эх! Про черепаху-то я и забыл. Нечего ее больше держать.

Он раскутал черепаху и сунул ее под дом. Но она сейчас же вылезла оттуда и опять заковыляла все в том же, раз взятом ею направлении, на юго-запад. Кошка прыгнула и ударила лапкой по вытянутой черепашьей голове, царапнула когтями по ногам. Чешуйчатая голова спряталась, толстый хвост ушел вбок под панцирь, и, когда кошка, наскучив ожиданием, отошла прочь, черепаха снова двинулась в путь, на юго-запад.

Том Джоуд и проповедник смотрели, как черепаха уходит все дальше и дальше, широко расставляя ноги, волоча в пыли тяжелый выпуклый панцирь. Кошка некоторое время кралась за ней, но потом выгнула тугим луком спину, зев-

нула и, осторожно ступая, вернулась к людям, сидевшим на крыльце.

– И куда ее понесло! – сказал Джоуд. – Сколько я этих черепах перевидал на своем веку. Всегда они куда-то ползут. Всегда им куда-то надо.

Серая кошка снова уселась между ними, чуть позади. Веки у нее слипались. Шкурка на спине дернулась к шее от блошиного укуса и медленно поползла назад. Кошка подняла лапу, обнюхала ее, выпустила когти, потом спрятала их и лизнула подушечки розовым языком. Красное солнце коснулось горизонта и расплзлось, как медуза, и небо над ним посветлело и точно ожило. Джоуд вынул из свертка новые желтые башмаки и, прежде чем надеть их, смахнул рукой пыль со ступней.

Проповедник, смотревший через поля вдаль, сказал:

– Кто-то идет. Погляди. Вон правее, по грядкам.

Джоуд повернул голову туда, куда показывал Кэйси.

– Да, кто-то идет, – сказал он. – Таковую пылищу поднял, что и не разглядишь. Кто бы это мог быть? – Они следили за человеком, приближавшимся к ним, и пыль, которую он поднимал ногами, казалась красной в лучах заходящего солнца. – Мужчина, – сказал Джоуд. Человек подошел еще ближе, и, когда он поравнялся с сараем, Джоуд сказал: – Да я его знаю. И ты его знаешь. Это Мьюли Грейвс. – И он крикнул: – Эй, Мьюли! Здравствуй!

Человек остановился, испуганный окриком, но потом за-

шагал быстрее. Он был худой, небольшого роста. Движения у него были резкие и быстрые. В руке он держал мешок. Его синие брюки совсем вылиняли на коленях и на задуге, старый черный пиджак был весь в пятнах, рукава в проймах рваные, локти протерты до дыр. Черная шляпа тоже вся пестрела пятнами, лента на ней держалась только одним концом, а другой болтался сбоку. Лицо у Мьюли было без единой морщинки, но злое, как у капризного ребенка. Губы узкие, плотно сжатые, взгляд маленьких глазок не то хмурый, не то раздраженный.

– Ты помнишь Мьюли? – тихо спросил Джоуд проповедника.

– Вы кто такие? – окликнул их приближающийся человек. Джоуд молчал. Мьюли подошел ближе и только тогда разглядел их лица. – Пропади ты пропадом! – крикнул он. – Да ведь это Томми Джоуд. Когда же ты вышел, Томми?

– Сегодня третий день, – ответил Джоуд. – Путь не близкий, шел пешком. Пришел – и вот что увидел. Где же все мои, Мьюли? Почему дом разворочен и весь двор хлопком засеяли?

– Кстати я сюда заглянул, – сказал Мьюли. – Старый Том очень беспокоился о тебе. Когда они выезжали, я сидел у них на кухне. Говорю Тому: «Никуда отсюда не двинусь». А он говорит: «Беспокоюсь очень из-за Тома. Придет домой, а дома никого нет. Что он подумает?» Я говорю: «Ты бы ему написал». А Том говорит: «Может, и напишу. Может, и себе-

русь. А ты все-таки поглядывай, если останешься, не придет ли Том». – «Я-то останусь, – говорю, – меня отсюда до самого светопреставления не выживешь. Нет таких людей, которые сгонят с места нас, Грейвсов». И пока, как видишь, не согноли.

Джоуд нетерпеливо перебил его:

– Где же мои? О себе потом расскажешь. Куда мои делись?

– Когда банки начали запахивать тут все тракторами, они тоже решили не сдаваться. Ваш дед вышел с ружьем, стал стрелять, попал трактору в фару, а трактор все равно идет. Тракториста, Уилла Фили, он не хотел убивать. Уилл и сам знал, что бояться ему нечего, – держит прямо на дом и как двинет его! Будто собака крысу тряхнула! Тому это всю душу вывернуло наизнанку. Он с тех пор сам не свой стал.

– Куда они уехали? – со злобой проговорил Джоуд.

– Так я же тебе рассказываю. Три раза гоняли фургон твоего дяди Джона. Вывезли плиту, колодезный насос, кровати. Ты бы видел, как все это было! Взгромоздили кровати на фургон, ребятишки, дед твой, бабка примостились у передка, а твой брат Ной сидит покуривает, сплевывает через борт, будто его это не касается. – Джоуд только открыл рот, как Мьюли быстро проговорил: – Они у дяди Джона.

– У Джона? А что им там делать? Мьюли, не отвлекайся, потерпи хоть минуту. Ответишь, а дальше валяй, как тебе угодно. Что они там делают?

– Окучивают хлопок – все от мала до велика. Копят день-

ги, хотят податься на Запад. Купят машину и поедут туда, где полегче живется. Здесь совсем плохо.

Пятьдесят центов с акра – вот как за окучивание платят, да работу приходится вымаливать.

– И они еще там, не уехали?

– Нет, – ответил Мьюли. – По-моему, нет. Дня четыре назад я видел Ноя на охоте за кроликами, он говорил, что недели через две соберутся, не раньше. Джона тоже предупредили, чтобы выезжал. Иди к Джону, это всего миль восемь отсюда. Они все там, набились у него в доме, как суслики в норе.

– Ну, ладно, – сказал Джоуд. – Теперь валяй свое. Ты все такой же, Мьюли. Хочешь что-нибудь рассказать, а колесишь вокруг да около, и заносит тебя бог знает куда.

Мьюли сердито проговорил:

– И ты тоже ни капельки не изменился. Как раньше задира́л нос, так и теперь задираешь. Учить меня вздумал?

Джоуд усмехнулся.

– Нет, не собираюсь. Тебе если что втемяшится в голову, ну хоть носом в битое стекло сунуться, так ты свое сделаешь, несмотря ни на какие уговоры. Мьюли, а нашего проповедника ты узнал? Его преподобие Кэйси.

– Как же, как же. Я на него просто не посмотрел.

Кэйси встал, и они пожали друг другу руки.

– Рад тебя видеть, – сказал Мьюли. – Ты давно в наших краях не показывался.



– Да, давно. Я ушел отсюда, чтобы разобраться в своих мыслях, – ответил Кэйси. – А что тут у вас делается? Почему народ с земли гонят?

Мьюли так плотно сжал губы, что верхняя, выступающая вперед клювиком, опустилась на нижнюю. Он нахмурился и сказал:

– Мерзавцы! Сукины дети! Я отсюда с места не двинусь! От меня так просто не отделаешься. Прогонят – опять вернусь, а если им думается, что меня только могила исправит, так я кое-кого из этих сволочей с собой прихвачу на тот свет за компанию. – Он похлопал рукой по оттопыренному карману куртки. – Никуда отсюда не уйду. Мой отец пятьдесят лет назад здесь поселился. Никуда не уйду.

Джоуд сказал:

– Да зачем это понадобилось – сгонять народ с места?

– Ха! Мы тут всяких речей наслушались. Ты ведь помнишь, как было последние годы. Пылью так все заносило, что от урожая оставалась самая малость – ослу задницу нечем заткнуть. Бакалейщику все задолжали. Сам знаешь. Тогда хозяева наши стали говорить: «Арендаторы нам больше не по средствам. Их доля лишает нас минимальных прибылей. Даже если мы не будем больше разбивать землю на мелкие участки, то и тогда она еле-еле себя окупит». И тракторами согнали отсюда всех арендаторов. Всех, кроме меня, а я ни-почем не уйду. Ты меня знаешь, Томми. Ты меня с малых лет знаешь.

– Что верно, то верно, – сказал Джоуд, – с малых лет тебя знаю.

– Так вот, я ведь не дурак. Я знаю, земля здесь не бог весть какая. И никогда она хорошей не была, на ней только скот пасти. Целину здесь зря поднимали. А под хлопком она стала совсем мертвая. Если бы меня никто не гнал отсюда, я, может, давно бы перебрался в Калифорнию – ел бы там виноград да апельсины сколько душе угодно. Но когда эти сукины дети велят тебе убираться с твоего же участка... ну ни-почем не уеду, что хочешь со мной делай!

– Правильно, – сказал Джоуд. – Не пойму, как это отец так сразу покорился. И почему дед никого не убил, тоже не пойму. Дед не позволял собой вертеть. И мать не робкого десятка. Я раз видел, как она разносчика живой курицей била, потому что он, видите ли, ей слово поперек сказал. В одной руке топор, в другой курица – вышла ей голову отрубить. Хотела ударить разносчика топором, да перепутала, что в какой руке, и ну его курицей. Курицу эту мы так и не съели. Ничего от нее не осталось – одни ноги. Дед, глядя на них обоих, чуть не лопнул с хохоту. Что же это они так сразу покорились?

– Да, знаешь, приехал к нам сюда один человек, начал нас уговаривать, и так это у него гладко получалось: «На меня не сетуйте, я тут ни при чем». А я спрашиваю: «На кого же нам сетовать? Скажите – я пойду уложу его на месте». – «Это все Земельно-скотоводческая компания Шоуни. Я выполняю, что мне приказано». – «А кто он такой, этот Шо-

уни?» – «Да такого нет. Это компания». Просто до белого каления довел. Выходит, что и к ответу некого притянуть. Кое-кому надоело попусту из себя выходить да выискивать обидчиков, собрались и уехали. А мне все это покоя не дает. Я на своем стою и никуда отсюда не уеду.

Огромная красная капля солнца помедлила над горизонтом, потом просочилась вниз и исчезла, и небо в этом месте засверкало, рваное облачко окровавленной тряпкой повисло там, где только что было солнце. Восточную часть неба затянуло прозрачной мглой, на землю с востока поползла тьма. Сквозь прозрачную мглу, дрожа, поблескивала первая звездочка. Серая кошка прокралась к сараю и тенью шмыгнула в открытую дверь.

Джоуд сказал:

– Ну, восемь миль сегодня не отмахаешь. Мои ходули горят как в огне. Может, к тебе пойдем? Ведь до твоей фермы не больше мили.

– Смысла нет. – Вид у Мьюли Грейвса был смущенный. – Мои все уехали в Калифорнию – и жена, и ребята, и брат ее. Есть нечего было. Они не так озлились, как я. Собрались и уехали. Здесь есть совсем нечего.

Проповедник беспокойно заерзал на месте.

– Тебе тоже надо было уехать. Семью нельзя разбивать.

– Не могу я, – сказал Мьюли Грейвс. – Ну вот будто не пускает меня что-то.

– Эх, черт! А я проголодался, – сказал Джоуд. – Четыре

года ел по часам. А сейчас брюхо караул кричит. Мьюли, ты что будешь есть? Как ты теперь кормишься?

Мьюли сказал стыдливо:

– Первое время ел лягушек, белок, а то сурков. Что поде-  
лаешь. А теперь завел проволочные силки, раскинул их в ку-  
старнике у ручья. Иногда заяц попадетсЯ, иногда куропатка.  
Бывает, что и енотов ловлю и скунсов.

Он нагнулся, поднял свой мешок и опростал его. Два кро-  
лика и заяц шлепнулись на крыльцо мягкими, пушистыми  
комками.

– Ох, чтоб тебе! – сказал Джоуд. – Я уж пятый год свеже-  
битой дичи не ел.

Кэйси поднял одного кролика.

– Поделишься с нами, Мьюли Грейвс? – спросил он.

Мьюли неловко переступил с ноги на ногу.

– Выбирать не приходится. – Он замолчал, смущенный  
неделикатностью своего ответа. – Да я не то хотел сказать.  
Не то. Я... – он запнулся, – я вот как рассуждаю: если у тебя  
найдется, что поесть, а рядом стоит голодный... так тут вы-  
бирать не приходится. Положим, заберу я своих кроликов,  
уйду и съем их в одиночку... Понимаешь?

– Понимаю, – сказал Кэйси. – Это я понимаю, Том. Мьюли  
– он чувствует. Чувствует, а выразить не может, и я тоже вы-  
разить не могу.

Том потер руки.

– У кого есть нож? Сейчас мы этих зверушек разделаем.

Уж мы их разделаем.

Мьюли сунул руку в карман брюк и вынул большой складной нож с роговым черенком. Том Джоуд взял его, раскрыл и понюхал лезвие. Он несколько раз ткнул лезвием в землю, снова понюхал его, вытер о штанину и попробовал большим пальцем.

Мьюли вытащил из заднего кармана бутылку и поставил ее на крыльцо.

– На воду не очень налегайте, – сказал он. – Больше нет, а колодец здесь завалили.

Том взял кролика.

– Сходите кто-нибудь в сарай, там должна быть проволока. Костер разожжем из поломанных досок. – Он осмотрел мертвого зверька. – Кролика освежевать проще простого. – Он оттянул шкурку на спине, надрезал ее, сунул в надрез пальцы и рванул книзу. Кожа снялась, как чулок, – с хвоста к шее, с ног к лапкам. Джоуд опять взял нож и отрезал кролику голову и лапы. Потом положил шкурку на землю, разрезал кролику живот, вывалил на шкурку внутренности и бросил все это в хлопчатник. Маленькое тельце лежало с обнаженными мышцами. Джоуд отсек все четыре ноги и разрезал мясистую спинку вдоль. Он уже принялся за второго кролика, когда Кэйси подошел к крыльцу со спутанным мотком проволоки. – Теперь надо развести костер, да воткните колышки, – сказал Джоуд. – Ух и аппетит у меня разыгрался!

Он выпотрошил второго кролика и зайца, разрезал их и

надел куски мяса на проволоку. Мьюли и Кэйси оторвали несколько досок с развороченного угла дома, разожгли костер и по обе его стороны воткнули в землю по колышку.

Мьюли подошел к Джоуду.

– Посмотри, нет ли на зайце чирьев, – сказал он. – Я с чирьями не стану есть. – Он вынул из кармана маленький матерчатый мешочек и положил его на крыльцо.

Джоуд сказал:

– Он чистенький, как огурчик. Мьюли, да ты и солью запасся! Пошарь в карманах, может, у тебя там тарелки найдутся и палатка? – Он отсыпал на ладонь соли и посолил куски мяса, нанизанные на проволоку.

Языки огня тянулись кверху, отбрасывали тени на дом, сухие доски потрескивали, стреляли. Небо теперь стало темное, и звезды горели ярко. Серая кошка вышла из сарая и с мяуканьем побежала к костру, но, не добежав, вдруг повернула в сторону, прямо к кучке внутренностей, брошенных в грядки хлопчатника. Она принялась за еду, подбирая с земли длинные заячьи кишки.

Кэйси сидел у костра, бросал в огонь щепки, подсовывал длинные доски по мере того, как они обгорали с концов. Летучие мыши стремительно проносились назад и вперед в столбе света над костром. Кошка подкралась к огню и, облизываясь, села в сторонке, потом принялась умывать мордочку и усы.

Джоуд взял обеими руками проволоку, прoderнутую

сквозь куски мяса, и подошел с ней к костру.

– Ну-ка, Мьюли, держи один конец, наматывая на колышек. Вот так. Теперь давай подтянем. Надо бы подождать, пока доски не прогорят, да мне уж неважноту. – Он натянул проволоку, потом поднял с земли щепку и передвинул куски мяса так, чтобы они приходились над самым огнем. Огонь лизнул их, кусочки затвердели и покрылись глянцевитой корочкой. Джоуд сел у костра и стал поворачивать мясо щепкой, чтобы оно не припеклось к проволоке. – Сейчас закатим пир горой, – сказал он. – Мьюли всем богат – и крольчатинной, и солью, и водичкой. Жаль только, что у него в кармане горшочка маисовой каши не нашлось. Больше мне ничего не надо.

Мьюли, сидевший по другую сторону костра, сказал:

– Вы, наверное, думаете, что я тронулся, что так жить нельзя?

– Еще чего – тронулся! – сказал Джоуд. – Хорошо бы все такие тронутые были, как ты.

Мьюли продолжал:

– А ведь чудно?! Как сказали мне – съезжай, так со мной будто сделалось что-то. Сначала решил: пойду и перебыю всех, кто попадется под руку. Потом мои все уехали на Запад. Стал я бродить с места на место. Далеко не уходил. Все тут слонялся. Спал где придется. Сегодня хотел здесь заночевать. За этим и пришел сюда. Слоняюсь с места на место, а сам себе говорю: «Надо приглядывать за чужим добром, что-

бы все было в порядке, когда люди вернутся». И ведь знаю, что обманываю сам себя. Не за чем здесь приглядывать. Никто сюда не вернется. А я брожу здесь, точно призрак на погосте.

– С привычным местом трудно расстаться, – сказал Кэйси. – И к мыслям своим тоже привыкаешь, никак от них не отделаешься. Я уж больше не проповедник, а нет-нет да словлю себя на том, что читаю молитвы.

Джоуд перевернул кусочки мяса на проволоке. С них уже капал сок, и в том месте, куда падали капли, огонь вспыхивал ярче. Гладкая поверхность мяса начинала темнеть и покрываться морщинками.

– Понюхайте, – сказал Джоуд. – Нет, вы только понюхайте, как пахнет!

Мьюли продолжал свое:

– Точно призрак на погосте. Обошел все памятные места. Вот, скажем, есть за нашим участком кустарник в ложбинке. Я там первый раз с девчонкой лег. Мне было тогда четырнадцать лет. Распалился, как олень, ерзал, сопел, что твой козел. Пришел я туда, лег на землю – и будто опять со мной это случилось. А еще есть место около сарая, где отца бык забордал насмерть. Там его кровь в земле. И по сию пору, наверно, осталась. Мы не смывали. Я пришел туда и положил руку на землю, которая впитала отцовскую кровь. – Он запнулся. – Вы думаете, я тронутый?

Джоуд все поворачивал куски мяса, и взгляд у него был



глубокий, сосредоточенный. Кэйси подтянул колени к подбородку и смотрел в огонь. Шагах в пятнадцати от людей, аккуратно обвив хвостом передние лапки, сидела насытившаяся кошка. Большая сова с криком пролетела над костром, и огонь осветил снизу ее белые перья и размах крыльев.

– Нет, – сказал Кэйси. – Жизнь у тебя сейчас бесприютная, но ты не тронутый.

Маленькое, туго обтянутое кожей лицо Мьюли словно окаменело.

– Я положил руку на ту самую землю, где и по сию пору есть отцовская кровь. Вижу, он будто рядом со мной, и дыру у него в груди вижу, и чувствую, как он дрожит, а потом повалился и руки и ноги вытянул. В глазах муть от боли, потом затих, и глаза стали ясные... и вверх смотрят. Я был еще совсем мальчишкой, сижу рядом с ним и не плачу, не кричу, сижу молча. – Он дернул головой. Джоуд медленно поворачивал кусочки мяса. – Потом зашел в комнату, где родился наш Джо. Кровати уж нет, а комната как была, так и стоит. Да, того, что случилось в этих памятных местах, никуда не денешь, оно там и останется. Здесь родился наш Джо. Открыл рот, ловит воздух, а потом как закричит – за мило было слышно, а бабка стоит рядом и приговаривает: «Ах ты мой красавчик!» Так внуку радовалась, что за один вечер три чашки разбила.

Джоуд откашлялся.

– Ну, давайте есть, что ли.

– Пусть прожарится как следует, дай ему подрумяниться до черноты, – сердито сказал Мьюли. – Мне поговорить охота. Я уж давно ни с кем не говорил. Тронутый я, ну и пусть тронутый, и дело с концом. Слоняюсь по ночам с фермы на ферму, точно призрак на погосте. К Питерсам, от них к Джейкобсам, к Рэнсам, к Джоудам. Дома стоят темные, точно крысиные норы, а ведь было время – гости съезжались, танцевали. Моления, крик, шум во славу Божию, свадьбы играли – и все здесь, в этих самых домах. Оглядываюсь вокруг себя, и хочется мне пойти в город и перебить там кого следует. Прогнали отсюда людей, запахали землю тракторами, а что они с нее получают? Что они такое возьмут, чтобы сохранить свои «минимальные прибыли»? Они возьмут землю, на которой истек кровью мой отец. Здесь родился Джо, и я здесь ночью под кустами сопел, как козел. Что они еще получают? Земля истощенная. У нас уже сколько лет плохие урожаи. А эти сволочи в конторах – они взяли и ради своих «минимальных прибылей» разрубили людей на две половины. Человек сливается воедино с тем местом, где живет. А когда мыкаешься по дорогам в забитой всяким скарбом машине, тогда ты не полный человек. Ты мертвец. Тебя убили эти сволочи. – Мьюли замолчал, но его тонкие губы все еще шевелились, грудь тяжело вздымалась. Он сидел, глядя на свои освещенные огнем руки. – Я... я уж давно ни с кем не говорил, – тихим, извиняющимся голосом сказал он. – Все слонялся с места на место, точно призрак на погосте.

Кэйси подсунул длинные доски в костер, огонь лизнул их и снова взметнулся вверх, к подвешенному на проволоке мясу. Стены дома громко потрескивали, остывая в ночном воздухе. Кэйси спокойно проговорил:

– Надо повидать людей, тех, что снялись с места. Чувствую, что мне надо повидать их. Им нужна помощь, – не проповеди, а помощь. Какое уж тут Царство Божие, когда на земле нельзя жить? Какой уж тут Дух Святой, когда людские души поверглись в уныние и печаль? Им нужна помощь. А жить они должны, потому что умирать им еще нельзя.

Джоуд крикнул:

– Да что в самом деле! Давайте есть, а то ссохнутся, будут величиной с мышь. Вы посмотрите. Понюхайте, пахнет-то как! – Он вскочил с места и передвинул кусочки мяса подальше от огня. Потом взял нож Мьюли и, надрезав один кусок, снял его с проволоки. – Это проповеднику, – сказал он.

– Говорю тебе – я больше не проповедник.

– Ну ладно, не проповеднику, так просто человеку. – Джоуд надрезал еще один кусок. – А это Мьюли, если у него еще аппетит не пропал от огорчения. Зайчатина. Жесткая, точно камень. – Он сел и запустил свои длинные зубы в зайчатину, рванул большой кусок и принялся пережевывать его. – Ой! Ну и похрустывает! – и с жадностью откусил еще один кусок.

Мьюли сидел, глядя на свою порцию.

– Может, не следовало мне так говорить? – сказал он. – Может, это лучше держать про себя?

Кэйси, набивший полный рот мясом, взглянул на Мьюли. Мускулы у него на шее ходили ходуном.

– Нет, говорить следовало, – сказал он. – Иногда человек изливает все свое горе в словах. Иногда человек замыслит убить кого-нибудь, поговорит, изольет свою злобу, тем дело и кончится. Ты правильно поступил. Никого не надо убивать. Совладай с собой. – И он снова поднес зайчатину ко рту.

Джоуд бросил кости в огонь, вскочил с места и снял с проволки еще один кусок. Мьюли принялся за свою порцию, и жевал он медленно, а его маленькие беспокойные глазки перебегали с Джоуда на проповедника. Джоуд ел с остервенением, по-звериному, и вокруг его рта поблескивали сальные разводы.

Мьюли смотрел на него долго и чуть ли не с робостью. Потом опустил руку с куском мяса и сказал:

– Томми.

Джоуд поднял глаза, не переставая жевать.

– А? – спросил он с полным ртом.

– Ты не сердишься, что я говорю про убийство? Тебе не обидно меня слушать?

– Нет, – сказал Том. – Не обидно. Что было, то было.

– Ты не виноват, это мы все знали, – сказал Мьюли. – Старик Тернбулл грозился отомстить тебе после тюрьмы. Он, говорит, убил моего сына, и я ему этого не спущу. Но потом соседи успокоили его, образумили.

– Мы были пьяные, – тихо сказал Джоуд. – Подвыпили на

вечеринке. Сам не знаю, с чего все началось. Почувствовал вдруг, что меня пырнули ножом, и протрезвел. Вижу, Херб опять замахивается. А тут у стены, у школы, стояла лопата. Я схватил ее и ударил Херба по голове. У меня с ним никаких счетов не было. Он был хороший. Еще мальчишкой увивался около моей сестры Розы. Мне этот Херб даже нравился.

– Старику все так и говорили. Наконец кое-как утихомирился. Мне кто-то рассказывал, будто у него родство с Хэтфилдом со стороны матери, вот он и пыжится изо всех сил. Не знаю, верно это или нет. Они всей семьей уехали в Калифорнию пол года назад.

Джоуд снял с проволоки оставшиеся куски, роздал их соотрапезникам и опять уселся у костра. Теперь он ел уже не так быстро, разжевывал мясо как следует и вытирал рукавом жир с губ. А его темные полузакрытые глаза задумчиво смотрели на потухающий костер.

– Все уезжают на Запад, – сказал он. – А я подписку дал, надо выполнять обязательство. Мне в другой штат нельзя.

– Подписку? – спросил Мьюли. – Да, я про них слыхал. А как с ними выпускают?

– Я вышел раньше срока. На три года раньше. Ставят кое-какие условия, которые нужно выполнять, а не исполнишь, опять засадят. Являться надо время от времени.

– Как там с вами обращались? У моей жены двоюродный брат побывал в Мак-Алестере, так ему там спуска не давали.

– Обращаются неплохо, – сказал Джоуд. – Не хуже, чем

в других тюрьмах. Но будешь буянить, тогда спуску не дадут, это верно. Нет, в тюрьме жить можно, если только надзиратель не придирается. А тогда дело дрянь. Я ничего жил. Держался смирно. Писать выучился, да еще как красиво. И птичек умею рисовать. Мой старик увидит, как я птичку с одного росчерка рисую, пожалуй, разозлится, а то и вовсе взбесится. Не любит он таких фокусов. Когда обыкновенно пишут, и то ему не по душе. Боится, что ли? Наверно, привык: раз перо и чернила – значит, что-нибудь взыскивают.

– И не били тебя?

– Нет, я смирный был. Конечно, когда тянешь такую лямку изо дня в день все четыре года, это кого хочешь до одури доведет. Если натворил такого, что вспоминать стыдно, – ну, сиди и кайся. А я – вот честное слово! – если бы Херб Тернбулл полез на меня с ножом, я бы опять пристукнул его лопатой.

– На твоём месте каждый бы так сделал, – сказал Мьюли.

Проповедник не отводил глаз от костра, и в сгущавшейся темноте его высокий лоб казался совсем белым. Огненные блики играли на его жилистой шее. Он сидел, обняв колени, и похрустывал костяшками пальцев.

Джоуд бросил в огонь объедки, облизал пальцы и вытер их о брюки. Он поднялся, взял с крыльца бутылку с водой, сделал маленький глоток и, прежде чем сесть, передал бутылку проповеднику. Потом снова заговорил:

– Что меня больше всего мучило? То, что во всем этом нет

никакого смысла. Когда корову убьет молнией или поля zalьет разливом – тут особого смысла искать не станешь. Случилась беда, ну и случилась. Но когда тебя сажают под замок на четыре года, в этом должен быть какой-то резон. Человеку положено до всего добираться своим умом. Так вот, посадили меня в тюрьму, держали там четыре года, кормили. Как будто это должно или исправить меня, чтобы я не пошел во второй раз на преступление, или припугнуть так, чтобы впредь неповадно было... – Он помолчал. – Но если Херб или кто другой опять на меня полезет, я то же самое сделаю. Особенно если в пьяном виде. Вот над этой бессмыслицей и ломаешь себе голову.

Мьюли заметил:

– Судья говорил, ты потому так легко отделался, что Херб тоже был виноват.

Джоуд продолжал:

– В Мак-Алестере сидел один – бессрочник. Учился все время. Работал секретарем у надзирателя, переписку вел и все такое прочее. Умница, в законах смыслил. Я с ним однажды разговорился обо всем этом, – человек он был образованный, много книг прочел. Так он мне сказал: книги тут не помогут. Я, говорит, о тюрьмах все перечитал, и о прежних, и о нынешних, и теперь еще меньше понимаю, чем раньше. Тут, говорит, такая неразбериха, что сам черт ногу сломит, и ничего с этим не могут поделать; а чтобы ввести какие-нибудь изменения, так на это ни у кого ума не хватает. Не взду-

май, говорит, за книги засесть: во-первых, запутаешься еще больше, а во-вторых, перестанешь уважать правительство.

— Я и так его не уважаю, — сказал Мьюли. — Мы знаем только одно правительство — это те самые, кто на нас налегает и печется о своей «минимальной прибыли». Но я вот чего не мог понять: как это Уилл Фили согласился сесть на трактор да еще хочет здесь и дальше работать на той самой земле, которую пахал его отец. Покоя мне это не давало. Если б из других мест кого прислали, дело другое, а ведь Уилл здешний. Наконец решил: пойду спрошу его самого. Он прямо взбеленился. «У меня двое ребят, — говорит. — У меня жена и теща. Им есть надо». Себя от злости не помнит. «Я в первую голову о них думаю, — говорит. — А другие пусть сами о себе позаботятся». Ему, верно, стыдно было, вот он и обозлился.

Джим Кэйси смотрел на потухающий костер, и глаза у него были широко открыты, мускулы на шее вздулись. Вдруг он крикнул:

— Теперь знаю! Если есть во мне хоть капля разума, значит, я все понял. Прозрел! — Он вскочил и стал расхаживать взад и вперед, крутя головой. — Была у меня палатка. Народу по вечерам сходилось человек пятьсот. Давно это было, вы меня в те годы еще не знали. — Он остановился и посмотрел на них. — Помните? Я никогда не собирал деньги после проповеди, где бы ни проповедовал — в сарае, в поле.

— Никогда, что правда, то правда, — сказал Мьюли. — Наши так к этому привыкли, что их зло брало, когда другие пропо-



ведники ходили по рядам со шляпой. Что правда, то правда.

— Если предлагали покормить, я не отказывался, — продолжал Кэйси. — Брюки брал, когда от своих собственных оставались одни лохмотья, или пару старых башмаков, когда подошвы начисто сносишь. А в палатке было по другому. Иной раз собирал долларов десять, а то и двадцать. Только радости это мне не приносило. Тогда я бросил собирать, и как будто стало полегче. Теперь я все знаю. А вот словами это выразить, пожалуй, не смогу. Пожалуй, и пробовать не стану... Но, кажется мне, теперь проповедник найдет свое место. Может, я опять смогу проповедовать. Люди мыкаются по дорогам, одинокие, без земли, без крова. А если нет крова, надо дать им что-то взамен. Может быть...

Он стоял, глядя на костер. Мускулы у него на шее вздулись еще больше, отблески огня играли в глазах, зажигая там красные искорки. Кэйси стоял, глядя на костер, и взгляд у него был настороженный, словно он прислушивался к чему-то, а руки, всегда такие беспокойные, деятельные, сейчас медленно тянулись к карманам. Летучие мыши кружили в свете затухающего костра, и далеко в полях слышалось хлипкое курлыканье ночной птицы.

Том неторопливо полез в карман, вынул оттуда кисет и стал свертывать самокрутку, не отводя глаз от углей. Он никак не откликнулся на слова проповедника, словно считая, что это личное дело Кэйси и вмешиваться в него не следует. Он сказал:

– По ночам лежишь у себя на койке и думаешь: вот вернусь домой – как это все будет? Дед и бабка, может, умрут к тому времени, может, еще ребятишки народаются. Может, нрав у отца будет не такой крутой. И мать отдых себе даст, работа по дому перейдет к Розе. Я знал, что перемены должны быть... Ну что ж, давайте устраиваться на ночевку, а завтра чуть свет пойдем к дяде Джону. По крайней мере, я пойду. А ты, Кэйси, как решишь?

Проповедник все еще стоял, глядя на угли. Он медленно проговорил:

– Пойду с тобой. А когда твои тронутся в путь, поеду с ними. Кто на дороге, с теми я и буду.

– Милости просим, – сказал Джоуд. – Мать всегда тебя почитала. Говорила: такому проповеднику можно довериться. Роза тогда была еще совсем маленькая. – Он повернулся к Мьюли: – А ты как? Пойдешь с нами? – Мьюли смотрел на дорогу, по которой они пришли. – Пойдешь, Мьюли? – повторил Джоуд.

– А? Нет. Мне идти некуда. Видишь, вон там свет прыгает вверх и вниз? Это, наверно, управляющий здешним участком едет. Значит, заметил наш костер.

Том посмотрел в ту сторону. Светлое пятно ползло вверх по дороге.

– А кому мы мешаем? – сказал он. – Посидели здесь, только и всего. Мы ничего плохого не сделали.

Мьюли хмыкнул:

– Как бы не так! Раз пришел сюда, значит, уже плохо. Нарушаешь чужие владения. Здесь оставаться никому нельзя. Меня уж два месяца ловят. Вот что: если это машина, пойдем в хлопок и там заляжем. Далеко можно не забираться. Пусть ищут! Пусть каждую грядку обшаривают. А ты лежи и не поднимай головы.

– Что это с тобой, Мьюли? – удивился Джоуд. – Ты раньше не любил в прятки играть. Злой был.

Мьюли не сводил глаз с приближающегося светового пятна.

– Да, – сказал он. – Был злой, как волк. А теперь злой, как ласка. Если ты охотишься за дичью, значит, ты охотник, – а охотники сильные. Такого не одолеешь.

А когда охотятся за тобой самим – это дело другое. Ты уж не тот, не прежний. И силы в тебе нет. Злость, может быть, есть, а силы нет. За мной давно охотятся. Я теперь дичью стал. Подвернется случай, может, и подстрелю кого-нибудь из темноты, а чтобы кол выдернуть да замахнуться – этого больше не бывает. И нечего нам с тобой обманывать самих себя. Вот так-то.

– Что ж, иди прячься, – сказал Джоуд. – А мы с Кэйси перекинемся парой словечек с этой сволочью.

Полоска света была уже близко, она взметнулась в небо, исчезла и снова взметнулась. Все трое стояли и следили за ней.

Мьюли сказал:

– Когда за тобой охотятся, ты вот еще о чем думаешь – об опасности. Когда сам охотишься, этого и в мыслях нет, ничего не боишься. Ты ведь сам говорил: стоит только тебе в чем-нибудь провиниться – и крышка, отсидишь свой срок в Мак-Алестере до конца.

– Правильно, – согласился Джоуд. – Так мне было сказано. Но если остановишься здесь отдохнуть, пересподишь ночь прямо на земле – разве в этом есть какая-нибудь провинность? Тут ничего плохого нет. Это не то же самое, что пьянствовать или дебоширить.

Мьюли рассмеялся:

– Вот увидишь. Посиди здесь, дождись машины. Может, это Уилл Фили, он теперь шерифский понятой. Он тебя спросит: «Ты зачем сюда пришел?» Ну, Уилл всегда был дурак дураком, значит, ты ему скажешь: «А тебе какое дело?» Он разозлится, заорет: «Проваливай отсюда, не то арестую». А ты не позволишь всякому Фили тобой командовать да покрикивать на тебя с перепугу. Он уже влип, надо как-то выпутываться, а ты тоже удила закусил, отступать и тебе не резон... А, черт, залечь между грядок куда проще, пусть разыскивает. И веселее, потому что они злятся, ничего не могут поделать, а ты лежишь себе да посмеиваешься. Попробуй поговорить с Уиллом или с другим начальником, они тебе покажут! Арестуют и вернут в Мак-Алестер еще на три года.

– Ты дело говоришь, – сказал Джоуд. – Что верно, то верно. Да уж больно не хочется плясать под их дудку. Пошел бы

да и всыпал этому Уиллу.

– Он с винтовкой, – сказал Мьюли, – будет стрелять – шерифскому понятию можно. Значит, или он тебя убьет, или ты его, если отнимешь винтовку. Пойдем, Томми. Ты так рассуждай: я спрячусь, они же в дураках останутся. Тут все дело в том, как это повернуть. – Яркие полосы света уткнулись теперь прямо в небо, и на дороге послышался ровный гул мотора. – Пойдем, Томми. Далеко не надо забираться, грядок за четырнадцать, за пятнадцать. Оттуда все будет видно.

Том встал.

– Правильно говоришь, что с тобой спорить. Этим ничего не выиграешь.

– Пошли. Вот сюда. – Мьюли обогнул дом и вывел их шагов на пятьдесят в поле. – Вот и достаточно, – сказал он. – Теперь ложитесь. Если свет направят сюда, опустите голову, только и всего. Мы еще посмеемся над ними. – Все трое растянулись на земле и оперлись на локти. Вдруг Мьюли вскочил, побежал к дому и, вернувшись через несколько минут, бросил на грядку пиджак и обувь. – Не то возьмут, чтобы в долгу не оставаться, – сказал он.

Полосы света поднялись по откосу и уткнулись прямо в дом.

Джоуд спросил:

– Может, они с карманными фонарями пойдут искать? Эх, палку бы!

Мьюли хихикнул:

– Не пойдут. Говорю, я злой стал, как ласка. Уилл раз попробовал сунуться, а я его так огрел сзади! Свалился как подкошенный. Потом всем рассказывал, что на него пятеро наслало.

Машина подъехала к дому, на ней вспыхнул прожектор.

– Головы ниже, – сказал Мьюли. Полоса холодного белого света протянулась над ними и стала шарить по полю. Им не было видно, что происходит около дома, но они слышали, как хлопнула дверца машины, слышали голоса. – На свет бояться выходить, – прошептал Мьюли. – Я раза два стрелял по фарам. Уилл теперь ученый. Сегодня не один приехал. – Они слышали скрип половиц, потом увидели свет в доме. – Стрельнуть? – шепнул Мьюли. – Не увидят откуда. Пусть призадумаются.

– Стреляй, – сказал Джоуд.

– Не надо, – шепнул Кэйси. – Что это даст? Пустая затея. Надо так делать, чтобы во всем смысл был.

Где-то возле дома послышалось шарканье подошв по земле.

– Костер тушат, – прошептал Мьюли. – Засыпают его пылью. – Дверца машины хлопнула, фары снова осветили дорогу. – Головы ниже! – скомандовал Мьюли. Они уткнулись в землю, и луч прожектора лег у них над головой, метнулся по полю, потом машина тронулась с места, поднялась на холм и исчезла.

Мьюли сел среди грядок.

– Уилл всегда так делает напоследок. Я уж привык к этому. А ему кажется, он невесть какой хитрец.

Кэйси сказал:

– Может, в доме кто-нибудь остался? Мы выйдем, а нас схватят.

– Все может быть. Вы подождите здесь. Я все их штучки знаю. – Осторожно ступая, Мьюли пошел к дому, и только легкое похрустыванье сухих комьев земли отмечало его путь. Джоуд и проповедник напряженно вслушивались, но Мьюли уже был далеко. Через несколько минут он крикнул с крыльца: – Никого нет. Идите сюда.

Они поднялись и пошли к темневшему впереди дому. Мьюли стоял у кучки земли, сквозь которую пробивался дым, – это было все, что осталось от их костра.

– Никого нет, я так и знал, – с гордостью проговорил Мьюли. – Уилла сбил с ног, по фарам раза два стрелял. Они теперь ученые. Откуда им знать, кто здесь прячется? А я в руки не дамся. Я около жилья никогда не сплю. Хотите, покажу место, где можно устроиться на ночлег? Там никто о вас не споткнется.

– Веди, – сказал Джоуд. – Что ж делать, пойдем. Вот не думал, что буду прятаться на отцовской ферме.

Мьюли вышел в поле, и Джоуд с проповедником последовали за ним. Они шагали прямо по кустам хлопчатника.

– Тебе еще сколько раз надо будет прятаться, – сказал

Мьюли.

Они шли гуськом. Вскоре перед ними протянулась глубокая рытвина, и, скользя подошвами по откосу, они легко соскользнули на самое ее дно.

– А я знаю, куда ты ведешь! – крикнул Джоуд. – В пещеру?

– Верно. Почему ты догадался?

– Я сам ее рыл, – сказал Джоуд. – Вместе с братом Ноем. Говорили, будто ищем золото, а на самом деле просто, как все ребята, копали пещеру. – Откосы рытвины приходились им теперь выше головы. – Где-то тут, совсем близко, – сказал Джоуд. – Помнится мне, что совсем близко.

Мьюли сказал:

– Я ее прикрыл хвостом, чтобы никто не нашел. Дно рытвины выровнялось, их ноги ступали теперь по песку.

Джоуд сел на чистый песок.

– Я там спать не стану. Лягу вот здесь. – Он свернул пиджак и сунул его под голову.

Мьюли раздвинул руками хвост и забрался в свою пещеру.

– А мне и тут хорошо! – крикнул он. – По крайней мере, знаешь, что тут никто до тебя не доберется.

Джим Кэйси сел на песок рядом с Джоудом.

– Ложись спи, – сказал Джоуд. – Чуть рассветет, двинемся в путь к дяде Джону.

– Мне спать не хочется, – ответил Кэйси. – Уж очень много всяких мыслей в голове.



Он согнул ноги в коленях и обнял их руками. Потом поднял голову и уставился на яркие звезды. Джоуд зевнул и закинул руку за голову. Они молчали, и мало-помалу суетливая жизнь земли, норок, кустарника пошла своим чередом: шуршали суслики, кролики осторожно подбирались к зеленой листве, мыши сновали между сухими комьями, а крылатые хищники бесшумно проносились в небе.

В городах, на городских окраинах, посреди полей, на пустырях – всюду парки подержанных машин, автомобильный лом, гаражи с неоновыми рекламами. Подержанные машины. Хорошие подержанные машины. Дешевый вид транспорта, три прицепа. «Форд» 27-го года, мотор в порядке. Проверенные машины, качество гарантировано. Бесплатное радио. Машины, и к ним сто галлонов бензина в придачу. Зайдите и убедитесь сами. Подержанные машины. Накладные расходы в стоимость не включаются.

Небольшой участок и контора, в которой едва хватает места для стола, стула и синей конторской книги. Пачка захватанных по уголкам, пестрящих скрепками бланков, рядом – аккуратная стопочка чистых, незаполненных. Вечное перо – следите, чтобы в нем всегда были чернила, держите его в порядке. Сделка не состоялась только потому, что вечное перо было не в порядке.

Вон те сукины дети ничего не купят. Такие шляются по всем гаражам. Им бы только глазеть с утра до вечера. Таким машины не нужны; крадут у тебя время, не считаются с тобой. А вон там парочка – нет, не та, с ребятами. Посади их в машину. Начинай с двухсот, постепенно сбавишь. По виду, сто двадцать пять наскребут. Пусть покатаются. Пусть попробуют вон тот примус на колесах. Прижимай их. Они

крадут у нас время.

Хозяева с засученными рукавами. Продавцы – чистенькие, бесстрастные, взгляд маленьких глаз внимательный. Знатоки человеческих слабостей.

Следи за лицом той женщины. Если женщине понравится, муженька мы обломаем. Начни с «кадиллака». Потом всучишь вон тот «бьюик» 26-го года. Если начать с «бьюика», под конец они потребуют себе «форд». Живей, живей поворачивайся. Надо спешить, – не век же так будет. Покажи им вон тот «нэш», а я пока подкачаю дырявую камеру на «додже» 25-го года. Когда будет готов – кликну.

Машина вам нужна для езды, не так ли? За финтифлюшками вы не гонитесь? Да, обивка потерлась. Но ведь колеса приходят в движение не от подушек.

Ряды машин стоят нос к носу – капоты ржавые, шины спущены. Стоят тесно одна к другой.

Хотите посмотреть? Ну какое же тут беспокойство? Сейчас я ее выведу.

Пусть чувствуют себя обязанными. Пусть отнимают у тебя время. Не давай им забывать это. Покупатели – народ большей частью вежливый. Им неприятно утруждать людей. А ты заставь их утруждать себя, а потом прижмешь.

Ряды машин модели «Т» – высокие, тупоносые, руль поворачивается со скрипом, тормозные ленты изношены. «Бьюики», «нэши», «де-сото»...

Да, сэр, «додж» 22-го года. Лучшая модель, выпущенная

Доджем. Вечная. Низкая компрессия. С высокой компрессией первое время прыти хоть отбавляй, но в конце концов двигатель выходит из строя. «Плимуты», «рокнисы», «стары»...

О господи! Откуда взялся этот «апперсон» – из Ноева ковчега? А «чалмерс», «чандлер», их уж сколько лет не выпускают. Мы продаем не машины, а рухлядь. Эх! Побольше бы таких примусов на колесах! Дороже двадцати пяти – тридцати долларов мне ничего не надо. Пойдет за пятьдесят, за семьдесят пять. Уже неплохо. А много ли заработаешь на новой машине? Побольше примусов на колесах. Они у меня не застоятся. Все что угодно, но не дороже двухсот пятидесяти долларов. Джим, удержи вон того старикашку. Он ни бельмеса не смыслит. Попробуй всучить ему «апперсон». А куда он делся, этот «апперсон»? Продан? Если мы не раздобудем побольше таких примусов на колесах, тогда хоть бросай торговлю.

Флажки – красные и белые, белые и синие – развеваются у обочины дороги. Подержанные машины. Хорошие подержанные машины.

На помосте – гвоздь сегодняшнего дня. Не вздумайте продавать. Это приманка для публики. Если продать за такую цену, ни черта на нем не заработаешь. Говорите, что продано. Прежде чем отдашь машину, вынь аккумулятор. Поставь пустой бачок. Пошли они к черту! Что им еще нужно за их гроши? Поворачивайся – живее, живее! Надо спешить – не

век же так будет. Побольше бы раздобыть таких примусов на колесах, тогда через полгода можно свернуть дело – и на покой.

Эй, Джим, у этого «шевроле» такой шум в заднем мосту, будто там битое стекло. Всыпь-ка туда кварты две опилок. И в коробку скоростей тоже. Этот огурчик должен пройти за тридцать пять долларов. Меня надули на нем. Я дал десять, в конце концов этот прохвост всучил его мне за пятнадцать да еще ухитрился, сукин сын, припрятать все инструменты. Эх! Штук бы пятьсот таких примусов на колесах! Не век же так будет. Что, ему шины не нравятся? Скажи, такие шины пройдут еще десять тысяч миль, и скинь доллара полтора.

Груды ржавого лома вдоль забора, в самом конце двора никуда не годная, перепачканная маслом рухлядь, крылья, блоки моторов, валяющиеся прямо на земле, сквозь цилиндры прорастает трава. Тормозные тяги, выхлопные трубы свалены в кучу, похожую на клубок змей. Масло, бензин.

Посмотри, нет ли где целой запальной свечи? Эх! Раздобыть бы прицепы, штук эдак пятьдесят, и чтобы не дороже сотни, тогда можно будет заработать. Что он там скандалит? Наше дело продать машину, а толкать вручную домой, пусть сам толкает. Пусть сам толкает? Здорово сказано! Хоть в юмористический журнал. Думаешь, этот не клюнет? Так гони его отсюда. С такими, которые сами не знают, что им нужно, возиться некогда. Сними правую переднюю крышку с «грэхема». Поставь заплатой внутрь. Ну вот, теперь прямо

шик. И протектор еще не стерся.

Ну еще бы! Она пятьдесят тысяч миль пробежит. Не жалейте масла. До свидания. Счастливо. Подыскиваете себе машину? А что бы вам хотелось? Нашли что-нибудь подходящее? Надо бы выпить. Как вы на этот счет? Давайте пойдем, а ваша жена пусть пока посмотрит «ла-салль». Вы не хотите «ла-салль»? Подшипники износились. Берет слишком много масла. Могу предложить «линкольн» 24-го года. Вот это машина! На всю жизнь. Переделайте ее в грузовик.

Горячее солнце на проржавевшем металле. На земле масляные пятна. Люди бродят растерянные в поисках машин.

Вытри ноги. Не прислоняйся к этой машине, она грязная. Какую же выбрать? Сколько они стоят? Последи за детьми. Интересно, сколько они хотят вот за эту? Сейчас спросим. За спрос денег не платят. Ведь спросить можно? Сверх семидесяти пяти ни единого цента – это самое большее, что я могу дать, иначе не доберемся до Калифорнии.

Только бы раздобыть сотню таких примусов на колесах! Ходят – не ходят, все равно.

Покрышки – старые, стертые покрышки, сложенные штабелями; камеры – красные, серые – висят, точно колбасы.

Заплаты для шин? Порошок для чистки радиатора? Конденсатор? Бросьте вот эту пилюльку в бензобак и получите лишних десять миль с каждого галлона. Попробуйте нашу политуру – всего пятьдесят центов, а кузов будет как новый. Щетки, ремень вентилятора, прокладки? Может быть,

все дело в клапане! Смените поршень. Ну что для вас значит один цент!

Ладно, Джо. Ты повозись с ними еще немного и веди ко мне. Я их обработаю, я их облапошу или укокошу. Веди! Только чтобы были настоящие покупатели. Я хочу делом заниматься.

Пожалуйста, сэр, садитесь. Для вас это просто находка. Да, сэр. Всего восемьдесят долларов, просто находка.

Больше пятидесяти я не могу дать. Мне там сказали, что пятьдесят.

Пятьдесят? Пятьдесят! Он обалдел! Я сам за нее дал семьдесят восемь долларов пятьдесят центов. Джо! Ты что, разорить нас хочешь? Придется уволить этого болвана. Может, сойдемся на шестидесяти? Вот что, мистер, время дорого. Я человек деловой, а не какой-нибудь жулик. Может, у вас есть что-нибудь в обмен?

Есть – пара мулов.

Пара мулов? Джо, ты слышал? Он предлагает в придачу пару мулов. А вы разве не знаете, что мы живем в век машин? Мулы сейчас идут только на клей.

Хорошие крупные мулы – одному пять, другому семь лет. Ну что ж, пойдем посмотрим где-нибудь еще.

Где-нибудь еще? Являются к занятым людям, крадут у них время и уходят ни с чем! Джо, ты разве не разобрал, с кем имеешь дело? Это же настоящий выжига!

Я не выжига. Мне нужна машина. Мы уезжаем в Кали-

форнию. Мне нужна машина.

Ну, хорошо! Я известная тряпка. Джо считает меня тряпкой. Говорит, если будете отдавать с себя последнюю рубашку, так подохнете с голоду. Вот мы как сделаем: я спущу ваших мулов по пяти долларов, на корм собакам.

Нет, зачем же собакам.

Ну, может быть, за семь долларов или за десять? Хорошо! Беру мулов за двадцать долларов. Тележка в придачу, так? Пятьдесят вы заплатите наличными, а на остальные дадите вексель, будете погашать долг по десяти долларов в месяц.

Но вы сказали – восемьдесят?

А вы разве никогда не слыхали, что существуют накладные расходы и страховка? Это повышает цену. За каких-нибудь четыре-пять месяцев вы все выплатите. Подпишитесь вот здесь. Мы обо всем позаботимся.

Просто и не знаю...

Слушайте. Я с себя последнюю рубашку готов отдать, а вы отнимаете у меня столько времени. Я бы за это время трех покупателей отпустил. Просто зло берет. Да, расписывайтесь вот здесь. Хорошо, сэр. Джо, заправь бак. Дадим этому джентльмену бензин.

Ну, Джо, досталось нам с тобой! Сколько мы дали за этот примус на колесах? Тридцать или тридцать пять? Если я не загоню упряжку мулов за семьдесят пять долларов, грош мне цена. Да еще пятьдесят наличными и вексель на сорок. Конечно, не все люди честные, но иной раз просто диву даешь-



ся, как они ухитряются погашать долг. Один выплатил сотню долларов через два года после того, как я списал их в расход. Спорю на что угодно – этот все выплатит. Эх, раздобыть бы еще пятьсот таких примусов на колесах! Поворачивайся, Джо. Завлекай их, а потом веди ко мне. С этой сделки получишь двадцать долларов. Молодец, стараешься.

Флаги, повисшие тряпочками на ярком дневном солнце. Гвоздь сегодняшнего дня «форд» 23-го года – «пикап» в полной исправности.

Что вы хотите за пятьдесят долларов – «зефир»?

Конский волос ключьями торчит из подушек, помятые, облупившиеся крылья. Сорванные, висящие на одном болте буфера. Элегантный двухместный «форд» с маленькой цветной лампочкой на радиаторе, с подфарниками на крыльях и тремя стоп-сигналами сзади.

Брызговики и рычаг переключения скоростей с большим штампом фирмы. На кожухе для запасной шины нарисована яркой краской хорошенькая девушка, внизу подпись: «Кора». Дневное солнце на запыленных ветровых стеклах.

Вот дела! Поесть некогда. Джо, пошли мальчишку за сандвичами.

Прерывистый рев дряхлых моторов.

Вон какой-то простофиля загляделся на «крейслер». Пойди выведай, с деньгой или нет. Среди этих фермеров попадают такие пройдохи, только держись. Завлекай их, Джо, и тащи ко мне. Ты молодец.

Да, машина куплена у нас. Гарантия? Мы гарантировали, что это автомобиль, но кормилицу к нему приставлять не обещали. Слушайте. Вы купили машину и теперь поднимаете крик. Будете вы погашать долг или нет – мне наплевать. Ваш вексель передан в банк. Взыскивать будет он. Мы у себя векселей не держим. Ах вот как! Только попробуйте затеять скандал – сейчас же позовем полисмена. Ничего подобного, покрышек мы не подменили. Гони его отсюда, Джо. Купил машину, а теперь привередничает. А что, если я куплю кусок мяса, съем половину, а остальное попытаюсь всучить обратно? Мы деловые люди, а не филантропы. Как тебе это нравится, Джо? Смотри-ка, смотри! Брелок – лосиный зуб. Беги к нему. Пусть посмотрит «понтиак» 36-го года.

Квадратные носы, округлые носы, ржавые носы, носы лопатой, обтекаемой формы, угловатые высокие коробки радиаторов «дообтекаемой эры». Сегодня много дешевых машин. Допотопные чудовища с мягкой обивкой – легко можно переделать в грузовик. Двухколесные прицепные вагончики – ржавые оси тускло поблескивают на жарком дневном солнце. Подержанные машины. Хорошие подержанные машины. Проверенные, в полной исправности. Мотор в порядке. Масло не течет.

Полюбуйтесь-ка. Ну и ну! До какого состояния довели машину!

«Кадиллаки», «ла-салли», «бьюики», «плимуты», «паккарды», «шевроле», «форды», «пontiаки». Ряд за рядом фа-

ры поблескивают на дневном солнце. Хорошие подержанные машины.

Завлекай их, Джо. Эх, раздобыть бы тысячи таких припусов на колесах! Ты обработай покупателя как следует, а остальное предоставь мне.

Уезжаете в Калифорнию? Это как раз то, что вам нужно. На вид старовата, но ее хватит на тысячи миль.

Тесно одна к другой. Хорошие подержанные машины. Дешевка. Мотор в полной исправности.

Небо посерело в промежутках между звездами, и бледный ущербный месяц стал прозрачным и хилым. Том Джоуд и проповедник быстро шли по дороге, проложенной гусеничными тракторами в хлопковых полях.

Только небо выдавало, что рассвет близок, – на западе оно сливалось с горизонтом, на востоке его отделяла от земли еле заметная линия. Джоуд и проповедник шли молча и вдыхали пыль, которая стояла в воздухе от их шагов.

– Ты хорошо знаешь дорогу? – спросил Джим Кэйси. – А то рассветет – и окажется, что мы забрели черт знает куда.

Хлопковые поля оживали вместе с пробуждающейся жизнью: ранние птицы перепархивали с места на место в поисках корма, потревоженные кролики удирали прочь, прыгая по комьям земли. Приглушенные пылью звуки шагов и похрустыванье сухих комьев под ногами путников сливались с таинственными шорохами приближающегося рассвета.

Том сказал:

– Я с закрытыми глазами дойду до дяди Джона. Вся штука в том, чтобы не думать о дороге. Иди себе и иди.

Ведь я здесь родился. Мальчишкой бегал по этим местам. Вон видишь дерево? На нем отец дохлого койота повесил. Долго он там висел, шерсть вся облезла, наконец упал. Ссохся, стал точно каменный. Эх, хорошо бы мать там чего-ни-

будь наварила. У меня брюхо подводит.

— У меня тоже, — сказал Кэйси. — Хочешь пожевать табак? Помогает, голод не так чувствуется. Зря мы вышли в такую рань. При свете лучше идти. — Он замолчал и откусил кусок жевательного табака. — Уж очень я крепко спал, не хотелось вставать.

— Это сумасшедший Мьюли меня поднял, — сказал Том. — Разбудил и говорит: «Прощай, Том. Я пойду. Мне пора. А вы, — говорит, — тоже собирайтесь, чтобы к рассвету вас здесь не было». Пугливый стал, как суслик, от такой жизни. Будто за ним индейцы гоняются. По-твоему, он рехнулся?

— Да кто его знает. Ты же видел, как машина вчера приехала на наш огонь? Видел развороченный дом? Тут нехорошие дела творятся. Конечно, Мьюли малость рехнулся. Всё крадучись, как шакал, — поневоле рехнешься. Он еще убьет кого-нибудь и дождется, что его затравят собаками. Я это наперед вижу. Чем дальше, тем он все хуже и хуже будет. Говоришь, отказался с нами идти?

— Да, — сказал Джоуд. — По-моему, он людей боится. Удивительно, как еще к нам подошел. К рассвету будем у дяди Джона.

Некоторое время они шли молча, и запоздалые совы пролетали у них над головой, возвращаясь в свои гнезда под крышами сараев, в дуплах, на цистернах, чтобы схорониться от дневного света. Небо на востоке побелело, и в сумерках уже можно было разглядеть кусты хлопчатника и серую

землю.

– Как они там разместились у дяди Джона, просто не понимаю. У него всего одна комната с кухонной пристройкой да сарайчик. Там теперь, наверно, не повернешься.

Проповедник сказал:

– Ведь Джон не семейный? По-моему, он жил один. Я его плохо помню.

– Один как перст, – сказал Джоуд. – Сумасшедшая башка, вроде Мьюли, только, пожалуй, еще хуже. Мыкается с места на место: то придет в Шоуни напьется, то к одной вдове за двадцать миль удерет, а то вдруг начнет копать у себя на участке при фонаре. Очумелый какой-то. Никто не думал, что он так долго проживет. У таких одиночек век короткий. А ведь дядя Джон старше отца. Год от году только жилистее да норовистей становится. Норовистей деда.

– Смотри, уже светает, – сказал проповедник. – Будто серебро льется. Разве у Джона никогда не было семьи?

– В том-то и дело, что была; и вот посмотри, до чего упрямство его довело. Нам отец про это рассказывал. Взял он себе молодую жену. Пожил с ней четыре месяца. Она забеременела. Как-то ночью заболело у нее что-то внутри. Она просит Джона: «Приведи доктора». А он и в ус не дует. «У тебя, – говорит, – живот болит. Объелась, наверно. Прими пилюлю. Съела лишнее, а теперь жалуешься». Наутро она уж заговариваться стала, а часам к четверем дня умерла.

– Что же с ней было? – спросил Кэйси. – Отравилась?

– Нет, у нее что-то лопнуло внутри. Какой-то... аппендикс, что ли. Дядя Джон, в общем-то, человек добрый и никак не мог простить себе такой грех. Долго ни с кем слова не хотел сказать. Мыкается с места на место, никого вокруг не видит и молитвы про себя бормочет. Года два сам не свой был. С тех пор стал совсем другим человеком. Сумасбродный. Покая от него не было. Стоит только кому-нибудь из нас, ребят, заболеть – ну там глисты заведутся или резь в животе, – сейчас тащит доктора. Наконец отцу надоело. Говорит дяде Джону: «Чтобы этого больше не было, ведь ребята постоянно животом маются». Дядя Джон считал, что жена по его вине умерла. Чудной старик. Икупал свой грех – то несет подарки ребятишкам, то кому-нибудь мешок муки на крыльцо подкинет. Почти все свое добро роздал, а не успокоился. Бывало, по ночам ходит и ходит один-одинешенек. А хозяин он неплохой. За землей хорошо ухаживает.

– Бедняга, – сказал Кэйси. – Один как перст. А в церкви он часто бывал после смерти жены?

– Нет. Он сторонился людей. Хотел один быть. А ребятишки в нем просто души не чаяли. Бывало, придет к нам ночью, и мы утром сразу догадываемся: дядя Джон был, – потому что он каждому сунет в кровать пакетик жевательной резинки. Мы его как господа бога почитали.

Проповедник шагал по дороге молча, опустив голову. В первых лучах наступающего дня его лоб словно сиял, а руки, помахивающие в такт шагам, то попадали на свет, то уходили

в темноту.

Том Джоуд тоже замолчал, будто устыдившись своей откровенности. Он пошел быстрее, и проповедник тоже прибавил шаг. Теперь они уже видели перед собой дорогу в серых сумерках. Из рядов хлопчатника, медленно извиваясь, выползла змея. Том остановился, приглядываясь к ней.

– Такие на сусликов охотятся, – сказал он. – Пусть себе ползет.

Они обошли змею и зашагали дальше. Небо на востоке чуть порозовело, и почти сейчас же вслед за этим над землей разостлался унылый утренний свет. Кусты хлопчатника зазеленели, и земля стала бурой. Лица обоих путников потеряли свой сероватый оттенок. Лицо Джоуда потемнело на свету.

– Хорошая пора, – сказал он. – Я мальчишкой, бывало, встану пораньше и брожу один на рассвете.

На дороге в честь суки собралось собачье общество. Пять псов – помесь с овчаркой, помесь с колли и другие, порода которых не поддавалась определению вследствие свободы нравов, царящей в собачьем племени, – были поглощены ухаживанием. Каждый пес деликатно обнюхивал суку, потом деревянной походкой отходил к кусту хлопчатника, поднимал заднюю ногу, орошал его и снова шел назад. Джоуд и проповедник остановились посмотреть на них, и Джоуд вдруг весело рассмеялся.

– Вот потеха! – сказал он. – Ну и потеха!



Псы сошлись в кучку, шерсть у них на загривках встала дыбом, они рычали, не двигаясь с места, и дожидались, кто первый начнет грызню. Но вот один пес оседлал суку, и остальные, отступив перед свершившимся фактом, стали с любопытством наблюдать за происходящим. С языка у них капала слюна. Путники пошли дальше.

– Ну и потеха! – повторил Джоуд. – По-моему, это наш Бой так словчился. А я думал, его давно в живых нет! Бой! Бой! – Он снова рассмеялся. – Если бы меня позвали в такую минуту, я бы тоже не услышал. Вспомнился мне случай с Уиллом Фили – он был тогда еще совсем мальчишка, робкий, застенчивый. Однажды велели ему отвести телку к быку Грейвсов. У них дома никого не было, кроме Элси, а Элси застенчивостью не отличалась. Уилл стоит красный и будто воды в рот набрал. Элси ему говорит: «Я знаю, зачем ты пришел. Бык в сарае, на заднем дворе». Отвели они туда телку, сами влезли на забор и смотрят. Уилла так разобрало, что ему на месте не сидится. А Элси его спрашивает: «Что это с тобой?» Будто ей самой невдомек. Уилл света божьего невзвидел. «Эх, – говорит, – эх, кабы мне так!» А Элси ему: «За чем же дело стало? Ведь телка-то твоя».

Небо на востоке заалело, и птицы с громким чириканьем запрыгали по земле.

– Смотри, – сказал Джоуд. – Вон цистерна. Это на участке у дяди Джона. Ветряка еще не видно, а цистерна – вон она. Видишь, темнеет? – Он прибавил шаг. – Все ли сейчас до-

ма?

Над холмом поднималась водяная цистерна. Джоуд быстро шел в клубях пыли, встававших ему по колено.

– Там ли мать?..

Им уже были видны распорки цистерны, дом – маленький, похожий на ящик, убогий, неоштукатуренный и покосившийся низкий сарай. Из жестяной трубы шел дымок. Двор был загроможден: сваленная в кучу мебель, лопасти и механизм ветряка, кровати, столы, стулья.

– Да они готовятся к отъезду! – воскликнул Джоуд.

Посреди двора стоял грузовик с высокими бортами – грузовик весьма странного вида: передняя часть у него была как у легковой машины, а посередине верх был снят, и кузов приспособлен под грузовую. Подойдя ближе, Том и проповедник услышали стук, а когда над горизонтом показался ослепительный ободок солнца и лучи его упали на машину, они увидели человека и поблескивавший у него в руке молоток. Солнце зажгло окна дома. Обшарпанные стены посветлели. Две рыжих курицы точно загорелись на ярком свету.

– Не подавай голоса, – сказал Джоуд. – Подкрадемся незаметно. – И он зашагал так быстро, что клубы пыли достигали ему теперь до пояса.

Они поравнялись с грядками хлопчатника. Потом вошли во двор; земля во дворе была утоптана до блеска, и только кое-где на ней пробивалась трава. И Джоуд замедлил шаги, точно боясь идти дальше. Глядя на него, убавил ходу и про-

поведник. Потом Джоуд медленно двинулся вперед и со смущенным видом свернул к машине. Это был шестицилиндровый легковой «гудзон», верх у него, по-видимому, розняли на две части вручную, стамеской. Старый Том Джоуд стоял в кузове и приколачивал верхние планки бортов. Он работал, низко опустив свое бородатое лицо, а изо рта у него торчали гвозди. Он наставил гвоздь, и молоток с грохотом вогнал его в доску. В доме звякнули конфоркой на плите, слышался детский плач. Джоуд подошел к машине и прислонился к борту. Отец посмотрел на него невидящими глазами. Потом наставил еще один гвоздь и вбил его в доску. Голуби стайкой вспорхнули с цистерны, облетели ее по кругу, вернулись на прежнее место, важно ступая, подошли к самому выступу и заглянули вниз; голуби были сизые, белые и серые, с радужными разводами на крыльях.

Джоуд взялся за нижнюю планку борта. Он смотрел на постаревшего, седеющего человека, который стоял на грузовике. Он лизнул губы и тихо проговорил:

– Па...

– Ну что там? – буркнул старый Том, не вынимая гвоздей изо рта.

На нем была грязная черная шляпа и синяя рубаха, поверх нее жилет без пуговиц; брюки были стянуты широким ремнем с большой медной пряжкой, – и кожа и металл блестящие от бесконечной носки; башмаки были потрескавшиеся, бесформенные, подошвы у них расшлепал ись от беско-

нечного хождения по слякоти и пыли. Рукава рубахи туго обтягивали руки, обрисовывая могучие мускулы. Живот у него был подтянутый, бедра худые, а ноги короткие, плотные и сильные. Лицо, обросшее седеющей щетиной, сжалось к упрямому, выступающему вперед подбородку, колючая поросль на котором еще не успела поседеть, что придавало ему еще большую внушительность. Скулы у старого Тома были темные, как пенковая трубка, кожа вокруг прищуренных глаз стягивалась лучистыми морщинками, глаза карие, как кофейная гуща. Приглядываясь к чему-нибудь, старый Том вытягивал шею, потому что эти зоркие когда-то карие глаза начинали сдавать. Губы, сжимавшие длинные гвозди, были тонкие и красные.

Он занес руку с молотком, собираясь вбить гвоздь, и посмотрел через борт грузовика на Тома, посмотрел сердито, недовольный, что ему помешали. И вдруг подбородок выпятился еще больше, глаза впились в лицо Тома – и мало-помалу мозг старика освоил то, что предстало глазам. Правая рука с молотком опустилась, левая вынула гвозди изо рта. И он сказал изумленно, словно сообщая самому себе о неоспоримом факте:

– Это наш Томми... – И повторил: – Это наш Томми вернулся домой. – Нижняя челюсть у него отвисла, в глазах появился испуг. – Ты не сбежал? Ты не скрываешься? – Он напряженно ждал ответа.

– Нет, – сказал Том. – Я дал подписку. Меня выпустили.

Документы при мне. — Он взялся за нижнюю планку борта и посмотрел вверх.

Старый Том медленно положил молоток на платформу и сунул гвозди в карман. Он занес ногу за борт машины и ловко спрыгнул вниз, но, очутившись рядом с сыном, смущенно замялся.

— Томми, — сказал он, — мы уезжаем в Калифорнию. Но мы собирались написать тебе письмо. — И добавил, точно не веря самому себе: — Ты вернулся! Теперь поедешь с нами. С нами поедешь! — В доме звякнули кофейной крышкой. Старый Том оглянулся через плечо. — Устроим им сюрприз! — сказал он, и глаза у него заблестели от восторга. — Мать все мучается предчувствием, будто ей тебя больше не видать. Глаза у нее стали тихие, точно в доме покойник. И в Калифорнию сначала не хотела ехать: «Тогда, говорит, я его больше не увижу». — В доме снова гроыхнули конфоркой. — Устроим им сюрприз! — повторил Том. — Войдем как ни в чем не бывало, будто ты все время с нами. Посмотрим, что мать скажет! — Наконец он дотронулся до сына, но дотронулся до его плеча робко и сейчас же отдернул руку. Он взглянул на Джима Кэйси.

Том сказал:

— Па, ты помнишь проповедника? Мы с ним вместе пришли.

— Он тоже из тюрьмы?

— Нет, мы встретились по дороге. Он давно здесь не был.

Отец степенно протянул проповеднику руку.

– Рад вас видеть в наших краях, сэр.

Кэйси сказал:

– Я сам этому радуюсь. Я рад присутствовать при возвращении вашего сына домой. Очень рад.

– Домой? – сказал отец.

– К родным, – быстро поправился Кэйси. – Мы переночевали на старом месте.

Отец выпятил подбородок и минуту смотрел на дорогу. Потом повернулся к Тому.

– Ну, так как же мы сделаем? – взволнованно заговорил он. – Может, так? Я войду и скажу: вот тут пришли двое, просят их накормить. Или ты один войдешь и будешь стоять молча, пока она тебя не увидит. Как лучше? – Лицо у него так и сияло.

– Еще напугаем, – сказал Том. – Не надо ее пугать.

Две овчарки с благодушным видом вбежали во двор, но стоило им только учуять незнакомых людей, как они попятились назад, медленно и нерешительно помахивая хвостами, напрягая зрение и нюх в ожидании враждебных действий со стороны чужаков. Одна из них вытянула шею, подкралась к Тому и, громко втягивая ноздрями воздух, обнюхала ему ноги, готовясь в любую минуту удрать. Потом отошла в сторону, выжидательно поглядывая на старого Тома. Другая была потрусливее. Она огляделась вокруг себя, подыскивая что-нибудь такое, чем можно было бы заняться, не теряя досто-

инства, увидела семенившего по двору рыжего цыпленка и кинулась к нему. Раздалось отчаянное кудахтанье разъяренной клушки, в воздух полетели рыжие перья, и клушка бросилась наутек, взмахивая короткими крыльями. Овчарка с гордостью посмотрела на людей и растянулась в пыли, удовлетворенно постукивая хвостом по земле.

– Ну, пойдем, – сказал отец, – пойдем. Пусть она на тебя посмотрит. А я на нее посмотрю. Пойдем. Сейчас будет скликать к завтраку. Я уже слышал, как она шлепнула солонину на сковородку.

Он зашагал к дому по мягкой пыли. Крыльца у этого дома не было – приступка, и сразу дверь; у двери лежала колода, рыхлая, расщепленная от долголетней службы. Деревянная обшивка дома крошилась, высушенная пылью. В воздухе стоял запах горящих ивовых веток, а подойдя к самым дверям, трое мужчин учуяли и запах жареного мяса, запах лепешек, острый запах кофе, клокотавшего в кофейнике. Отец стал на пороге, загородив своими широкими плечами вход. Он сказал:

– Ма, тут двое прохожих спрашивают, не найдется ли у тебя чем покормить их.

Том услышал голос матери, памятный ему, спокойный, сдержанный голос, звучавший дружелюбно и скромно.

– Пусть зайдут, – сказала она. – Еды много. Скажи, чтобы вымыли руки. Лепешки готовы. Сейчас и мясо сниму. – И на плите послышалось сердитое шипение сала.

Отец вошел в кухню, и Том заглянул через дверь на мать. Она снимала со сковороды загибающиеся по краям куски солонины. Духовка была открыта, и там виднелась большая сковорода с пышными лепешками. Мать посмотрела во двор, но солнце освещало Тома сзади, и она увидела только темную фигуру, обведенную по контурам ярким солнечным светом. Она приветливо крикнула:

– Заходите. Хорошо, что я сегодня спекла много хлеба.

Том стоял, глядя в кухню. Тело у матери было грузное, отяжелевшее от родов и работы, но не тучное. Он увидел ее широкое платье – когда-то в цветочках по серому полю, но теперь цветочки слиняли, и от них остались только более светлые пятнышки. Платье доходило ей до щиколоток, и ее крепкие босые ноги легко ступали по полу. Редкие сидящие волосы были собраны на затылке в маленький пучок. Засученные по локоть рукава открывали крепкие, покрытые веснушками руки, кисти были пухлые и маленькие, как у девочки-толстушки. Она смотрела на залитый солнцем двор. В выражении лица у нее была не мягкость, а скорее спокойная доброжелательность. Темные глаза словно извели все горе, выпадающее на долю человека, и, одолев страдание и боль, поднялись по ним, как по ступенькам, к спокойствию и пониманию. Она чувствовала, и сознавала, и принимала как должное свое положение в семье: она была ее оплотом, ее твердыней, которую никто не мог взять силой. И поскольку старый Том и дети чувствовали страх и горе только тогда,



когда их чувствовала мать, она закрыла доступ в свое сердце и горю и страху. И поскольку они ждали ее радости, когда случалось что-нибудь радостное, она привыкла находить повод для веселого смеха даже там, где найти его иной раз было трудно. Но спокойствие лучше, чем радость. Оно надежнее. И ее высокое и вместе с тем скромное положение в семье придавало ей достоинство и чистую душевную красоту. Ее руки, врачующие все раны, обрели уверенность и твердость; сама она – примирительница всех споров – была беспристрастна и безошибочна в своих приговорах, точно богиня. Она знала: стоит ей пошатнуться, и семья примет это на себя как удар; стоит ей поддаться отчаянию, и семья рухнет, семья потеряет волю к жизни.

Она смотрела на залитый солнцем двор, на темневшую за порогом мужскую фигуру. Отец, стоявший рядом, весь трясся от волнения.

– Входите! – крикнул он. – Входите, мистер!

И Том смущенно переступил порог.

Она приветливо посмотрела на него, подняв голову от плиты. И вдруг ее рука медленно опустилась, и вилка со стуком упала на дощатый пол. Зрачки темных глаз расширились. Она тяжело дышала. Она закрыла глаза.

– Слава богу, – сказала она. – Слава богу. – И вдруг на лице у нее мелькнула тревога. – Томми, тебя не разыскивают? Ты не убежал?

– Нет, ма. Я дал подписку. Документы при мне. – Он до-

тронулся до груди.

Она подошла к нему, легко и бесшумно ступая босыми ногами, и лицо у нее было изумленное. Маленькие руки коснулись его плеча, коснулись его крепких мускулов. Потом она, как слепая, дотронулась пальцами до его щеки. И радость ее граничила с горем. Том больно прикусил нижнюю губу. Ее изумленные глаза увидели кровь, проступившую сквозь его зубы и сбегавшую каплейкой на подбородок. И она поняла все, и самообладание снова вернулось к ней. Она отняла руку от его лица. Дыхание с хрипом вырывалось у нее из груди.

– А мы-то! – крикнула она. – Мы-то чуть без тебя не уехали! Всё думали, как же ты нас разыщешь?

Она подняла с полу вилку и, помешав кипящее сало, подхватила со сковородки кусок подгоревшей свинины. Потом отставила на край плиты бурлящий кофейник.

Старый Том сказал со смешком:

– Провели тебя, мать? Так мы и задумали. А она стоит, как овца, которую обухом огрели. Жалко, деда при этом не было! Тебя будто по лбу молотком кто съездил. Эх, дед надорвался бы с хохоту, опять бы себе бедро вывихнул. С ним это уже было, когда Эл выпалил в аэроплан. Знаешь, Томми, пролетал тут как-то аэроплан, громадный, чуть не с милю длиной, а Эл схватил ружье да как стрельнет. Дед кричит: «Не стреляй по птенцам, подожди, покрупнее полетят, по ним будешь палить!» Так с хохоту надсаживался, что бедро себе вывихнул.

Мать негромко засмеялась и сняла с полки горку оловянных тарелок.

Том спросил:

– А дед где? Я этого старого чертяку еще не видел.

Мать поставила тарелки на стол и около каждой чашку. Она сказала вполголоса:

– Они с бабкой спят в сарае. Уж очень часто им приходится вставать по ночам. То и дело о ребят спотыкались.

В их разговор вмешался отец:

– Дед раньше каждую ночь бушевал. Наткнется в темноте на Уинфилда, Уинфилд поднимет крик, а дед разозлится, напустит в штаны и еще злее станет; а там, глядишь, все начнут переругиваться, – прямо стон стоит в доме. – Он говорил посмеиваясь. – Да, у нас тут весело было. Как-то ночью раскричались все, подняли ругань, а Эл – он теперь за словом в карман не лезет, – Эл и говорит: «Эх, дед, из тебя лихой пират бы вышел». Ну, дед совсем озверел, побежал за ружьем. Пришлось Элу ту ночь спать в поле. А теперь мы стариков в сарае устроили.

Мать сказала:

– Теперь они если за нуждой, так встанут и выйдут во двор. Па, скажи им, что Томми вернулся. Томми дедушку всегда любил.

– Сейчас, – сказал отец. – Как это я раньше не догадался!

Он вышел из кухни и зашагал по двору, помахивая руками на ходу. Том долго смотрел ему вслед и вдруг услышал голос

матери. Она разливала кофе. Она не смотрела на Тома.

– Томми, – сказала она нерешительно и робко.

– Да? – Робость матери только увеличивала его собственную робость, вызывала в нем какое-то непонятное смущение. Каждый из них знал, что другой смущается, и еще больше робел от этого.

– Томми, я хочу тебя спросить... Ты не озлобился?

– Озлобился, ма?

– Тебе злота не затуманила голову? Может, тебе теперь все ненавистно? Может, в тюрьме тебя до того довели, что ты сам не свой стал?

Он посмотрел на нее искоса, посмотрел пристально, и глаза его словно спрашивали, откуда она знает все это.

– Н-нет, – ответил он. – Может, только на первых порах. Да я ведь не такой гордый, как другие. С меня как с гуся вода. А почему ты спрашиваешь, ма?

Теперь мать смотрела на него, приоткрыв рот, стараясь не пропустить ни единого слова; она впивалась глазами ему в лицо, стараясь выведать все до конца.

Мать искала того ответа, который слова всегда утаивают. Она заговорила смущенно и сбивчиво:

– Я знала Боя Флойда. Я знала его мать. Они хорошие люди. Бой Флойд был озорной, но в этом ничего плохого нет. – Она замолчала на минутку, потом слова полились потоком. – Может, не со всеми так бывает, но как с ним было, я знаю. Он в чем-то провинился, его избили за это, поймали и избили,

и он озлобился. Потом он опять что-то натворил, уже со зла, и его опять избili. До того довели, что мальчишка совсем разум потерял. В него стреляли, как в зверя, а он отстреливался. Погнали его с собаками, точно койота, а он скалит зубы, огрызается. Совсем потерял разум. И не мальчишка, и взрослым его не назовешь. Волк, настоящий волк. Кто его знал, те его не обижали. У него против них злобы не было. Наконец затравили мальчишку собаками и убили. В газетах бог знает что было написано, а я помню, как это случилось на самом-то деле. — Она замолчала, облизнула языком пересохшие губы, и ее глаза спрашивали, с мучительной тревогой глядя на Тома: — Я хочу знать, Томми. Тебя били? Ты тоже озлобился?

Полные губы Тома были плотно сжаты. Он взглянул на свои большие, сильные руки.

— Нет, — сказал он. — Я не из таких. — Он помолчал, продолжая рассматривать пальцы с обломанными, твердыми, как ракушки, ногтями. — Я в тюрьме жил тихо, старался, чтобы ничего такого не было. Во мне злобы нет.

Она вздохнула и проговорила вполголоса:

— Слава богу!

Он быстро взглянул на нее.

— Ма, когда я увидел, что сделали с нашим домом...

Она подошла к нему совсем близко и заговорила горячо, взволнованно:

— Томми! В одиночку нельзя драться. Затравят тебя, как

зверя. Я, Томми, все думала, гадала, прикидывала. Говорят, таких вот, согнанных с места, вроде нас, сто тысяч. Если бы мы все озлобились, Томми, да показали свою злобу... тогда нас не затравить... – Она замолчала.

Том медленно опустил веки, и теперь его глаза только чуть поблескивали сквозь ресницы.

– И многие так думают? – спросил он.

– Не знаю. Люди сейчас какие-то пришибленные. Ходят как во сне.

В дальнем конце двора послышался скрипучий старческий голос:

– Сла-ава Господу Богу! Сла-ава Господу Богу!

Том взглянул в ту сторону и усмехнулся.

– Вот и бабка обо мне прослышала. Ма, – сказал он, – я тебя раньше такой не видел.

Ее лицо помрачнело, глаза стали холодные.

– А мне раньше не приходилось видеть, как у меня дом ломают, – сказала она. – Мне не приходилось видеть, как всю мою семью выгоняют на дорогу. Мне никогда не приходилось продавать все до последней тряпки... Вот и они.

Она подошла к плите и переложила пышные лепешки со сковороды на две оловянные тарелки. Потом подбила мукой густое сало для подливки, и руки у нее побелели от муки. Минуту Том смотрел на мать, потом подошел к двери.

Они шли по двору вчетвером. Впереди, припадая на правую вывихнутую ногу, быстро ковылял дед, худощавый,

неряшливо одетый, живой старикашка. Он застегивал на ходу брюки, и его старческие пальцы никак не могли разобратся в пуговицах, потому что он застегнул верхнюю на вторую петлю и тем самым нарушил весь порядок сверху донизу. На нем были потрепанные темные брюки и рваная синяя рубашка с незастегнутым воротом, из-под которой торчала длинная серая фуфайка. Под фуфайкой, тоже сверху расстегнутой, виднелась костлявая бледная грудь, заросшая седой шерстью. Дед оставил брюки незастегнутыми и занялся пуговицами фуфайки, потом бросил, не доведя дело до конца, и стал подтягивать коричневые помочи. Лицо у него было худое, с маленькими карими глазками, бедовыми, как у непоседливого ребенка. Сварливое, капризное, озорное, смеющееся лицо. Дед с молодых ногтей был забияка, спорщик, любитель соленых шуток и по сию пору остался все таким же старым греховодником. Злой, жестокий и нетерпеливый, как ребенок, и вдобавок ко всему весельчак. Он слишком много пил, когда дорывался до спиртного, слишком много ел, если было что поесть, и любил поболтать.

За дедом ковыляла бабка, ухитрившаяся прожить до глубокой старости только потому, что она была такая же злобная, как и ее старик. Бабка отстаивала свою независимость с яростью фанатика, не уступая деду в буйстве и греховности. Однажды после моления, еще не придя в себя как следует и разговаривая на разные голоса, она разрядила в мужа двустволку и почти начисто снесла ему одну ягодицу. Это так

восхитило деда, что он, мучивший ее раньше, как дети мучают букашек, в дальнейшем прекратил озорство. Подобрав до колен широкое платье, бабка шла и повторяла пронзительно блеющим голосом свой боевой клич:

– Сла-ава Господу Богу!

Дед и бабка ковыляли по двору наперегонки. Они воевали друг с другом всю жизнь и любили эту войну, не могли существовать без нее.

Позади них, не отставая, ровным неторопливым шагом шли отец и Ной. Ной – первенец, высокий, какой-то странный на вид, с недоуменно-задумчивым и в то же время спокойным выражением лица. Ной никогда в жизни не выходил из себя. Он смотрел на горячившихся людей с удивлением – с удивлением и с чувством неловкости, как смотрит на сумасшедших здоровый человек. Движения у Ноя были размеренные, говорил он редко, а если говорил, то так медленно, что его часто принимали за дурачка. Но он был не глупый, только со странностями. Он не знал, что такое гордость, не испытывал влечения к женщинам. Он работал и спал, и это раз и навсегда заведенное чередование работы и сна удовлетворяло его. Ной любил семью, но никак не проявлял своей любви. Со стороны трудно было сказать, в чем тут дело, но он производил впечатление человека, в котором что-то неладно: то ли в форме головы, то ли в туловище, то ли в ногах, а может быть, и в мозгу. Но придаться к чему-нибудь определенному было трудно. Отец знал, почему стар-



ший сын у него не такой, как все, но стыдился говорить об этом. Потому что в ту ночь, когда Ной должен был появиться на свет, отец, оставшись один с роженицей, с этим несчастным, исходившим криками существом, обезумел от страха. Руки отца, его сильные пальцы, словно клещами, вытащили ребенка из чрева матери и помяли его. Запоздавшая повивальная бабка увидела, что головка у новорожденного бесформенная, шея вытянута, тельце покалечено. И она вправила ему шею и словно вылепила руками его тело. Отец не забыл этого случая и стыдился говорить о нем. И он был мягче с Ноем, чем с остальными детьми. В скуластом лице старшего сына, в его широко расставленных глазах, узком подбородке отец узнавал помятую, изуродованную головку ребенка. Ной делал все, что от него требовалось: он умел читать, писать, считать, толково работал, но все это выполнялось без интереса; то, к чему люди обычно стремятся и чего добиваются, оставляло его совершенно равнодушным. Он словно жил в каком-то странном затихшем доме и спокойными глазами смотрел оттуда на мир. Ной был чужой в этом мире, но чувства одиночества он не знал.

Все четверо шли через двор, и дед кричал:

– Где он? Где он, черт вас побери! – И его пальцы снова принялись теребить пуговицы на брюках, потом в забывчивости потянулись к карману. И тут он увидел Тома, стоявшего в дверях. Он остановился сам и остановил тех, кто шел за ним. Его глазки злобно засверкали. – Вот, полюбуйте, –

сказал он. – Арестант! Джоуды никогда по тюрьмам не сидели. – Мысль его работала бессвязно. – Какое они имели право сажать его в тюрьму! Я бы на его месте то же самое сделал. Какое они, сукины дети, имели право! – И тут же перескочил на другое: – Тернбулл, старый хрыч, хвалился: застрелю его, как только выйдет. Говорит, кровь во мне такая, не позволяет стерпеть. А я велел ему передать: «С Джоудами не связывайся. Может, во мне кровь еще почище твоей». Я ему пригрозил: «Ты только покажись с ружьем, я разряжу его тебе в задницу – будешь помнить!» Напугал дурака до полусмерти.

Бабка, не слушавшая, что говорит дед, тянула скрипучим голосом:

– Сла-ава Господу Богу!

Дед подошел к двери, хлопнул Тома по груди, и его глаза засверкали любовью и гордостью.

– Ну как, Томми?

– Ничего, – сказал Том. – А ты как?

– Молодого за пояс заткну, – ответил дед. Его мысль опять скакнула в сторону. – Говорил я – Джоуда в тюрьме не удержишь! Я еще тогда сказал: «Томми удерет, пробьется, как бык через забор». Вот ты и удрал! Дай дорогу, я есть хочу.

Он протиснулся в дверь, сел за стол, навалил себе на тарелку свинины и две большие лепешки, залил все это густой подливкой, и не успели остальные войти в кухню, как дед уже набил себе рот едой.

Томми с любовью смотрел на него и усмехался.

– Вот отчаянный! – сказал он.

А дед так набил себе рот, что не мог вымолвить ни слова, но его свирепые маленькие глазки улыбнулись, и он яростно закивал головой.

Бабка сказала с гордостью:

– Второго такого брехуна, разбойника ищи – не найдешь! В пекло прямо на кочерге въедет, слава Господу. Вздумал тоже – будет править грузовиком, – злобно добавила она. – Так вот, не выйдет!

Дед поперхнулся, выплюнул прямо на колени кусок непрожеванной лепешки и слабо закашлялся.

Бабка, улыбаясь, посмотрела на Тома.

– Вот неряха-то! – сказала она.

Ной поднялся на приступку, и его широко расставленные глаза словно смотрели мимо Тома. Лицо у Ноя было спокойное. Том сказал:

– Ну, как живешь, Ной?

– Хорошо, – ответил Ной. – А ты как? – И все. Но услышать это Тому было приятно.

Мать согнала мух с подливки.

– За столом всем места не хватит, – сказала она. – Берите тарелки и рассаживайтесь где как придется. Или на дворе, или здесь.

И Том вдруг спохватился.

– Э-э! А где же проповедник? Только что был здесь. Куда он делся?

Отец сказал:

– Я видел, он ушел куда-то.

Послышался скрипучий голос бабки:

– Проповедник? Ты привел проповедника? Давай его сюда. Пусть прочтет молитву. – Она показала пальцем на деда. – Поторопился, ест уже. Давайте сюда проповедника.

Том вышел за дверь.

– Эй, Джим! Джим Кэйси! – крикнул он и спустился во двор. – А, Кэйси! Вот ты где. – Проповедник вылез из-под цистерны, сел на землю, потом встал и подошел к дому. Том спросил: – Ты что, прячешься?

– Да нет. Зачем чужому соваться в семейные дела. Я просто сидел и думал.

– Пойдем, поешь с нами, – сказал Том. – Бабка хочет, чтобы ты прочел молитву.

– Ведь я больше не проповедник, – запротестовал Кэйси.

– Брось, пойдем. Прочти молитву. Тебя от этого не убудет, а она любит помолиться. – Они вошли на кухню вместе.

Мать спокойно сказала:

– Добро пожаловать.

И отец тоже сказал:

– Добро пожаловать. Садись, позавтракаем.

– Молитву, – требовала бабка. – Пусть сначала прочтет молитву.

Дед свирепо уставился на Кэйси и наконец узнал его.

– Ах, этот? – сказал он. – Ну, этот ничего. Он мне еще с

тех пор понравился, как я увидел раз... – Дед похабно подмигнул, и бабка, решив, что он сказал какую-нибудь непристойность, прикрикнула на него:

– Замолчи, греховодник! Старый козел!

Кэйси, взволнованный, прочесал пальцами волосы.

– Должен вам сказать... я уже больше не проповедник. Если достаточно того, что мне приятно быть здесь, среди простых, добрых людей... если этого достаточно, тогда я помолюсь, как сумею. Но я уже больше не проповедник.

– Молись, – сказала бабка. – И не забудь вставить словечко о том, что мы уезжаем в Калифорнию.

Проповедник, а вслед за ним и остальные склонили голову. Мать склонила голову и скрестила руки на коленях. Бабка нагнулась так низко, что еще немного и клюнула бы носом в подливку. Том, стоявший у стены с тарелкой в руках, опустил голову чуть-чуть, а дед вывернулся боком, чтобы послеживать злущим и веселым глазом за проповедником. Лицо у проповедника было не набожное, а задумчивое, и в словах его звучала не мольба, а размышление.

– Я все думал, – начал он. – Я бродил среди холмов и думал, почти как Иисус, когда Он удалился в пустыню, чтобы разобраться во всех своих заботах и горестях.

– Сла-ава Господу Богу! – сказала бабка, и проповедник с удивлением взглянул на нее.

– Иисуса так одолели заботы и горести, что Он не мог решить, как Ему быть дальше. И взяло Его сомнение: какого

черта! Зачем бороться с самим собой и ломать себе голову? Устал Он, очень устал и пал духом. Еще немного, и так бы и порешил: к черту все это! И тогда удалился Он в пустыню.

– Ами-инь! – проскрипела бабка. Столько лет она приурочивала свое «аминь» к паузам в молитвах, и ей уж столько лет не приходилось слушать Слово Божие и дивиться ему.

– Я не хочу равнять себя с Иисусом, – продолжал проповедник. – Но я устал, так же как Он, и запутался в своих мыслях, так же как Он, и ушел в пустыню, так же как Он, не взяв с собой ни палатки, ни вещей. По ночам я лежал на спине и глядел на звезды; утром сяду и смотрю, как всходит солнце; днем вижу с холма сухую землю внизу; вечером провожаю солнце. Иногда начну молиться, как и раньше. Только кому молюсь, за кого молюсь, сам не знаю. Вокруг меня холмы, и я брожу среди этих холмов, и я с ними теперь одно целое. Мы едины. И это единство свято.

– Аллилуйя, – сказала бабка и начала покачиваться взад и вперед, стараясь вызвать в себе молитвенный восторг.

– И я призадумался, только думы у меня были не такие, как всегда, а глубже. Я думал о том, что во всех нас была святость, когда мы жили одной семьей, и все человечество было свято, пока оно было едино. Но святость эта покинула нас, лишь только какой-то один дрянной человек ухватил зубами кусок побольше и убежал с ним, отбиваясь от остальных. Вот такой человек и убил нашу святость. А когда мы все трудились вместе, не один на другого, а все вместе, в одной

упряжке, тогда было хорошо, в таком труде была святость. Додумался я до этого и, гляжу, сам не знаю: что же такое святость? – Он замолчал, но его слушатели не поднимали головы, потому что они, как натасканные собаки, дожидались команды – слова «аминь». – Я теперь не могу читать прежние молитвы. Я радуюсь святости вашей трапезы. Радуюсь, что среди вас есть любовь. Вот и все. – Склоненные головы не поднялись. Проповедник посмотрел по сторонам. – Из-за меня ваш завтрак остынет, – сказал он; потом вспомнил: – Аминь. – И головы поднялись.

– Ами-инь, – протянула бабка и принялась за еду, жуя беззубыми старческими деснами пропитавшиеся подливкой лепешки.

Том ел быстро, отец откусывал большими кусками. Пока все не было съедено и выпито, на кухне царило молчание; слышалось только, как похрустывает пища на зубах и как прихлебывают горячий кофе. Мать не отрывала глаз от проповедника, и взгляд у нее был пытливый, пристальный, понимающий. Она смотрела на него, словно это был не человек, а дух, голос которого донесся до нее откуда-то из-под земли.

Кончив есть, мужчины поставили тарелки на стол, допили остатки кофе. Потом вышли во двор – отец, проповедник, Ной, дед, Том – и зашагали к грузовику, обходя сваленную в кучу мебель, деревянные кровати, механизм ветряка, старый плуг. Они подошли к машине и остановились возле нее.

Потрогали новые борта из сосновых досок.

Том открыл капот и стал разглядывать большой, измазанный маслом мотор. Отец подошел к нему.

– Когда мы ее покупали, Эл все проверил. Говорит, в порядке.

– А что Эл смыслит? Он же щенок.

– Эл в прошлом году работал в одной фирме. Водил грузовик. Кое-что в них смыслит. К нему теперь не подступись, важный стал. Мотор собрать для него плевое дело.

Том спросил:

– А где он сейчас?

– Где? – сказал отец. – Шляется. Блудит, как мартовский кот. Дорос до шестнадцати лет и заважничал. Он теперь сам себе голова. Только и думает что о девчонках да о машинах. Дома уж с неделю не ночевал.

Дед, теребивший пальцами ворот, ухитрился наконец продеть пуговицы синей рубахи в петли фуфайки. Пальцы чувствовали, что получилось неладно, но не стали доискиваться причины. Рука потянулась вниз, сделав еще одну попытку разобраться в сложной застёжке брюк.

– Я был хуже, – радостно проговорил дед. – Куда хуже. Я отчаянный был! Помню, в Саллисо собрались на моление, а я тогда был постарше Эла. Эл щенок, а я тогда был постарше. Вот пошли мы на моление. Там собралось человек пятьсот, девчонок – пропасть...

– А ты, дед, и сейчас все такой же отчаянный, – сказал



Том.

– Держусь понемножку. Только до прежнего далеко. Вот подождите, приеду в Калифорнию, буду там есть апельсины. И виноград. Никогда винограду всласть не ел. Сорву с куста целую кисть, вопьюсь в нее, только сок брызнет.

Том спросил:

– А где дядя Джон? Где Роза? Где Руфь и Уинфилд? Про них никто и словом не обмолвился.

Отец сказал:

– Про них никто и не спрашивал. Джон уехал в Саллисо продавать кое-какой скраб: насос, инструменты, кур – все, что мы захватили с фермы. Взял с собой Руфь и Уинфилда. Они еще до рассвета уехали.

– Как же это я с ними не повстречался? – сказал Том.

– Так ведь ты шел по шоссе, а они поехали напрямик, через Каулингтон. Роза и Конни у его родителей. Эх! Да ведь ты еще не знаешь, что Роза вышла за Конни Риверса! Помнишь Конни? Хороший малый. Розе уж рожать месяца через три, через четыре. Пухнет день ото дня. Цветет.

– Вот так так! – сказал Том. – Роза при мне была еще девочкой. А теперь собралась рожать. Да-а, не живешь дома, и чего только не случится за четыре года. Когда же ты думаешь выехать, па?

– Да вот надо распродать добро. Я думал, Эл вернется, погрузит все на машину, свезет в город на продажу, тогда завтра или послезавтра выедем. С деньгами у нас плоховато, а

тут один говорил, что до Калифорнии все две тысячи миль наберется. Чем раньше выехать, тем лучше. Деньги так и текут. У тебя есть что с собой?

– Два доллара. А ты откуда наскреб?

– Что было на ферме, все продали, – ответил отец, – а потом пошли всем скопом окучивать хлопок. Дед и тот окучивал.

– Окучивал, – подтвердил дед.

– Подсчитали – оказалось двести долларов. Семьдесят пять ушло на машину. Верх мы с Элом розняли, приспособили платформу. Эл собирался притереть клапаны, да вот шляется черт его знает где, никак не может взяться за дело. К отъезду останется долларов полтора. Уж очень покрышки старые, на них далеко не уедешь. Взяли еще пару запасных, да тоже подержанные. Придется, верно, по дороге кое-что прикупать.

Солнце, стоявшее прямо над головой, обжигало лучами. Грузовик отбрасывал на землю темные полосы тени; от него пахло нагретым маслом, клеенкой и краской. Куры ушли со двора и спрятались от зноя в сарайчике для инвентаря. Свиньи, лежавшие в хлеву у самой перегородки, где была еле заметная тень, дышали тяжело и время от времени жалобно похрюкивали. Обе собаки растянулись в красноватой пыли под грузовиком, высунув покрытые пылью языки, с которых капала слюна. Отец надвинул шляпу на глаза и присел на корточки. В этой привычной для него позе, видимо спо-

собственной размышлениям и повышающей наблюдательность, он смерил Тома критическим взглядом, посмотрел на его новую, но уже стареющую кепку, на костюм, на новые башмаки.

– Сам на это потратился? – спросил он. – Замучаешься в таком наряде.

– Это мне выдали, – сказал Том. – Перед выходом. – Он снял кепку и посмотрел на нее с восхищением, потом вытер лоб и, лихо надвинув набекрень, потянул за козырек.

Отец заметил:

– Башмаки дали хорошие.

– Да, – согласился Джоуд. – Башмаки хорошие, только по такой жаре в них далеко не уйдешь. – Он присел на корточки рядом с отцом.

Ной медленно проговорил:

– Может, приладим борта, тогда и грузить начнем? Погрузим, может, Эл подойдет, тогда...

– Я умею водить машину, если только за этим дело, – сказал Том. – Я водил грузовик в Мак-Алестере.

– Вот и ладно, – сказал отец и перевел взгляд на дорогу. – Если не ошибаюсь, это он, прохвост, домой тащится. Еле ноги волочит.

Том и проповедник посмотрели в ту сторону, и шkodливый Эл, заметив, что за ним наблюдают, расправил плечи и горделивой походкой зашагал по двору, точно петух, собирающийся закукарекать. Он подошел к ним совсем близко

и только тогда узнал Тома. Хвастливая мина сразу исчезла с лица Эла, глаза засветились восторгом и благоговением, и весь его задор как рукой сняло. Ни жесткие брюки-комбинезон, подвернутые снизу на восемь дюймов, чтобы было видно сапоги на высоких каблуках, ни пояс в три дюйма шириной, с медными бляхами, ни даже красные резинки на рукавах синей рубашки и заливчатски сдвинутая на ухо широкополая шляпа не могли сравнять его с братом, – потому что его брат убил человека, а этого забыть нельзя. Эл знал, что даже он сам вызывает восхищение среди своих сверстников только потому, что его брат убил человека. Он слышал раз в Саллисо: «Это Эл Джоуд. Его брат уложил одного лопатой».

И теперь, смиренно подходя к брату, Эл увидел, что тот, сверх ожидания, совсем не чванливый. Эл увидел темные хмурые глаза и тюремное спокойствие худого бритого лица, которое привыкло ничем не выдавать тюремщикам своих истинных чувств, не выказывать ни сопротивления, ни рабской покорности. И Эл сразу стал другим. Бессознательно он подделался под брата, и его красивое лицо нахмурилось, плечи слегка сгорбились. Он не помнил, какой Том был раньше.

Том сказал:

– Здравствуй, Эл! Ну и вытянулся – орясина! Я бы тебя не узнал.

Держа руку наготове, на тот случай если Том захочет поздороваться, Эл смущенно улыбнулся. Том протянул ему руку, рука Эла дернулась навстречу. И оба они понравились

друг другу.

– Говорят, ты машиной здорово управляешь?

Но Эл сразу почувствовал, что хвастовством брату не угодишь, и ответил:

– Да нет, не очень.

Отец сказал:

– Шляешься все. Без задних ног пришел. Надо отвезти в Саллисо кое-какие вещи на продажу.

Эл взглянул на брата.

– Поедем? – спросил он как можно небрежнее.

– Нет, не могу, – ответил Том. – Надо здесь помочь. Еще будем вместе... в дороге.

Эл старался сдерживать себя изо всех сил:

– Ты... ты убежал?.. Из тюрьмы?

– Нет, – ответил Том. – Дал подписку.

– А... – В голосе Эла прозвучало легкое разочарование.

В маленьких домишках арендаторы перебирали свое добро, добро своих отцов, добро своих дедов. Ворошили свой скорбь, готовясь к путешествию на Запад. Мужчины действовали без всяких сожалений, – ведь вся прошлая жизнь пошла насмарку; но женщины знали, что прошлое еще не раз подаст им свой голос. Мужчины шли в сараи, в чуланы.

Вот плуг, вот борона – помнишь, как сеяли горчицу во время войны? Помнишь, приезжал какой-то, все уговаривал нас разводить каучуковый кустарник – гвай-юлу? Говорил: разбогатеете. Давай-ка сюда вон те инструменты, – как-никак, а пару долларов за них получим. За плуг было заплачено восемнадцать долларов плюс перевозка, – выслано по прейскуранту «Сирз Роу-бак».

Упряжь, двуколки, сеялки, мотыги. Давай их сюда. Все в одну кучу. Грузи на фургон. Свезешь в город. Сколько ни дадут – продавай. Лошадей и фургон тоже продашь. Больше не понадобятся.

Пятьдесят центов за хороший плуг – это мало. Сеялка стоила тридцать восемь долларов. Два доллара мало. Не тащить же назад... Ладно, бери все, забирай и мою злобу в придачу. Бери насос и сбрую. Бери уздечки, хомуты, постромки. Бери красные стеклянные розочки – подвески к налобнику. Были куплены для гнедого мерина. Помнишь, как он подни-

мал ноги на рыси?

Рухлядь, сваленная посреди двора.

Ручной плуг теперь не продашь. Пойдет на лом, потянет самое большее на пятьдесят центов. Теперь только дисковые плуги да тракторы.

Ладно, забирайте все, что есть, всю рухлядь, и платите пять долларов. Вы покупаете не только эту рухлядь, но и жизнь, которая стала рухлядью. Мало того, в придачу к этому пойдет и моя злоба. Вы покупаете плуг, который подрежет почву под ногами ваших детей, вы покупаете оружие и волю, которые могли бы спасти вас. Нет, не четыре, а пять долларов. Не тащить же мне все назад. Ладно, берите за четыре. Только не забудьте, вы покупаете то, что подрежет почву под ногами ваших детей. Вы не заметите, как это случится. Не успеете заметить. Берите за четыре. Ну а сколько за лошадей и фургон? Смотрите, какие красавцы! Оба гнедые, подобраны под масть, и шаг у них одинаковый, нога в ногу. Натянут построжки – задние ноги и круп напрягутся, шагают ровно, ни на секунду не отстанут друг от друга. А по утрам, на солнце, прямо золотые. Поглядывают через загородку, принохиваются, не идет ли хозяин, уши в струнку, слушают, а челки совсем черные! У меня есть дочка. Любит заплетать им гриву и челку. Заплетет да еще завяжет красной ленточкой. Нравится ей это. А теперь кончено. Забавную историю мог бы я вам рассказать про дочку и вон про того гнедого. Вы бы посмеялись. Левый мерин – восьмилет-

ка, правому – десять, а ведь как дружно сработались, будто близнецы. Теперь смотрите зубы. Ни одного порченого. Легкие глубокие. Копыта ровные, чистые. Сколько? Десять долларов? За пару?.. Да еще тележка?.. О господи! Да я лучше пристрелю их, пойдут собакам на корм. А, берите! Берите их поскорей, мистер! Вы покупаете заодно и маленькую девочку, которая плела лошадям косички на лбу, снимала у себя с головы ленточку и завязывала им косички бантиками; отойдет назад, голову набок, – любитесь, потом потрется щекой о мягкие, теплые ноздри. Вы покупаете долгие трудовые годы на палящем солнце, вы покупаете горе, которое не выскажешь никакими словами. Но не забывайте одного, мистер. Вы получите премию за эту рухлядь и за гнedyх коней, за моих красавцев; эта премия – комок злобы, которая будет расти и расти в вашем доме и когда-нибудь принесет плоды. Мы могли бы стать вашими спасителями, но вы подсекли нас; наступит день, когда подсекут и вашу жизнь, а нас уже не будет, и на помощь к вам не придет никто.

И арендаторы возвращались домой, засунув руки в карманы, надвинув шляпу на глаза. Некоторые покупали пинту виски и быстро опоражнивали ее, чтобы оглушить себя сразу. Но, выпив, они не смеялись, не пускались в пляс. Они не пели, не пощипывали струны гитар. Они возвращались на свои фермы, засунув руки в карманы, низко опустив голову, вздымая ногами красную пыль.

Может быть, начнем жизнь заново, в новой, богатой стра-



не – в Калифорнии, где растут фрукты. Начнем с самого начала.

Разве мы сможем начать новую жизнь? Жизнь начинается только ребенок. А мы с тобой... у нас все позади. Минутные вспышки гнева, тысячи картин, встающих из прошлого – это мы. Поля, красные поля – это мы; проливные дожди, пыль, засуха – это мы. Нам уже не начать жизнь заново. Злоба, которую мы продали скупщику вместе с рухлядью, – она будет с ним, но не уйдет и от нас. И то, как хозяева велели нам убираться с земли, – это тоже останется с нами; и то, как трактор своротил дом – это останется с нами, останется до самой смерти. В Калифорнию или еще куда-нибудь – мы, как барабанщики на параде, поведем за собой наши обиды, нашу злобу. И настанет день, когда все армии озлобленных пойдут по одному пути. И они будут шагать в ногу, и поступь их будет грозной.

Арендаторы возвращались домой, волоча ноги в красной пыли.

Когда все, что можно продать, было продано – печки и кровати, столы и стулья, маленькие угловые буфеты, лоханки и баки, – скарб все еще оставался; и женщины сидели среди груды вещей, перебирали их, оглядывались назад, в прошлое. Картинки, зеркальце, и вот ваза...

Ты прекрасно знаешь, что можно взять, а что нельзя. Мы будем делать остановки среди полей, – понадобится посуда для стряпни и стирки, матрацы и теплые одеяла, и ведра, и

кусок брезента: из него сделаем навес. Вот бидон для керосина. Знаешь, на что пригодится? Смастерим из него печку. Одежда? Бери все, что есть. А ружье?.. Без ружья как без рук. Когда не будет ни башмаков, ни платья, ни еды, ни даже надежды – ружье все-таки останется при нас. Когда дед пришел в эти места – помнишь, рассказывал, – у него только и было с собой что перец, соль и ружье. Больше ничего. Это пойдет. И еще бутылку для воды. Ну, теперь, кажется, полно. Прицеп набит доверху. Ребята поедут в прицепе, бабку усадим на матрац. Инструменты – лопата, пила, гаечный ключ, плоскогубцы. Еще топор. Этот топор служит лет сорок. Видишь, как лезвие стерлось? Не забудь веревки. Остальное? Брось так... или сожги.

Подходили дети.

Если Мэри возьмет куклу, рваную тряпичную куклу, тогда я возьму мой индейский лук. Как я без него буду? И еще палку – она длинная, мне по самую макушку. Вдруг понадобится? Она у меня уже давно, целый месяц или целый год. Как я без нее буду? А какая она, Калифорния?

Женщины сидели среди обреченных на гибель вещей, перебирали их, оглядывались в прошлое. Вот книжка. Отцовская. Отец любил книги. «Странствия пилигрима». Часто читал ее. С его надписью. А вот отцовская трубка – все еще пахнет табаком. А вот картинка – ангел. Я все на нее смотрела перед первыми тремя родами, да что-то не помогло. Как по-твоему, взять эту фарфоровую собачку? Тетя Сэди при-

везла ее с выставки в Сент-Луисе. Видишь? Так и написано. Да нет, не стоит. Письмо от брата, писал за день до смерти. Шляпа – старомодная, с перьями, никогда ее не носила. Нет, некуда сунуть.

Как же мы будем жить, когда у нас отняли жизнь? Как мы узнаем самих себя, когда у нас отняли прошлое? Нет. Брось. Сожги.

Они сидели, глядя на эти вещи, и старались выжечь их, как клеймо, у себя в памяти. Как же дальше, когда не будешь знать землю за порогом своего дома? Или проснешься среди ночи и знаешь – знаешь, что ивы нет. Разве ты можешь жить без ивы? Нет, не можешь. Ива – это ты. Боль, которая терзала тебя вон на том матрасе, – мучительная, нестерпимая боль – это ты.

Опять дети... Если Сэм возьмет индейский лук и длинную палку, тогда мне тоже можно взять две вещи. Тогда я возьму еще пуховую подушку. Это моя подушка.

И вдруг их охватывало беспокойство. Надо поскорее трогаться. Ждать нельзя. Ждать больше нельзя. И они сваливали посреди двора оставшийся скarb и поджигали его. Они стояли и смотрели на огонь, потом с лихорадочной быстротой принимались грузить вещи на машину и уезжали, скрывались в пыли. И пыль долго стояла в воздухе, поднятая перегруженными машинами.

Когда грузовик уехал, набитый доверху тяжелым инвентарем, инструментами, кроватями, матрацами – всей движимостью, которую только можно было продать, Том пошел бродить по участку. Он постоял в сарае, заглянул в опустевшее стойло, в пристройку для инвентаря, разгреб ногой оставшийся там мусор, отшвырнул в сторону сломанный зубец косилки. Он обошел все памятные места – красный береговой откос, где были гнезда ласточек, иву около свиного хлева. Две свиньи с хрюканьем потянулись к нему через загородку; свиньи были черные, разомлевшие на солнце, благодюшные. И тут его паломничество закончилось, и он вернулся к дому и сел на приступку, куда только что передвинулась тень. Позади в кухне возилась мать, она стирала детское платье в ведре; ее веснушчатые руки были все в мыльной пене, пена капала с локтей. Как только Том сел на приступку, она выпрямилась и долго смотрела на него, сначала в лицо, сбоку, а когда он перевел глаза на залитый солнцем двор – в затылок. Потом снова принялась за стирку.

Она сказала:

– Том, надо думать, что в Калифорнии будет не так уж плохо.

Он повернулся и взглянул на нее.

– А кто говорит, что там будет плохо?

– Да никто. Только уж очень все это хорошо. Тут раздавали листки. Чего только там не написано – и работы сколько угодно, и плата высокая, и все такое прочее! Потом в газете писали, сколько там народу требуется на сбор винограда, апельсинов и персиков. А ведь это приятная работа – собирать персики. Даже если не позволят есть, все равно какую-нибудь гнилушку ухитришься стащить. И под деревьями хорошо работать – тень. Очень уж заманчиво, даже страшно становится. Не верю я. Боюсь, что на деле окажется совсем не так хорошо.

Том сказал:

– Не заносись верою выше орла, не будешь ползать вместе с червями.

– Правильно, правильно. Это ведь из Священного Писания.

– Кажется, оттуда, – сказал Том. – Я как прочел книжку «Победа Барбары Ворт», так у меня Священное Писание из головы вышибло.

Мать негромко засмеялась и снова принялась за стирку. Потом она стала отжимать штаны, рубашки, и мускулы у нее на руках натянулись, как веревки.

– Твой дед, с отцовской стороны, раньше тоже чуть что, так вспоминает Писание. Путал ужас как. Все сбивался на Альманах доктор Майлса. Он его от корки до корки читал нам вслух. Там было много писем – от тех, кто мучился бессонницей или ломотой в пояснице. Начнет другим переска-

зывать – учить их уму-разуму, да прибавляет: «Это притча из Священного Писания». Твой отец и дядя Джон смеются над ним, а он сердится. – Она сложила отжатое белье, точно охапку дров, на стол. – Том! Говорят, нам две тысячи миль ехать. Ведь это очень далеко? Я видела карту: высокие горы, точно на цветных открытках, и нам прямо через них надо перебираться. Сколько же уйдет на дорогу? Как ты думаешь, Томми?

– Не знаю, – ответил он. – Две недели, а если повезет, так дней десять. Слушай, ма, ты зря беспокоишься. Я тебе расскажу, как люди живут в тюрьме. О том, когда тебя выпустят на волю, думать нельзя. Рехнешься. Думать надо о сегодняшнем дне, о завтрашнем, о бейсболе в субботу. Так и надо жить. Так живут все бессрочники. Новички – те лбом о дверь бьются. Всё считают, сколько им еще сидеть. Зачем тебе это? Живи со дня на день.

– Да, так лучше, – сказала она, налила в ведро горячей воды, бросила туда грязное белье и принялась месить его в мыльной пене. – Так лучше. А все-таки приятно думать: может, в Калифорнии будет хорошо. Холодов там нет. Повсюду фрукты. Люди живут привольно, в беленьких домиках, среди апельсиновых деревьев. Может, и мы, – конечно, если всем найдется работа, если у всех будет заработок, – может, и мы устроимся жить в белом домике. Малыши будут рвать апельсины прямо с дерева. Попробуй удержи их – слез не оберешься.

Том смотрел, как она возится с бельем, и глаза его улыбались.

– Тебе, я вижу, от одних таких мыслей легче становится. Я знал одного из Калифорнии. У него и речь была другая, не как у нас. Послушаешь – и сразу ясно: это не здешний. Так вот он рассказывал, что там сейчас очень много народу набралось, все ищут работу. Сборщики фруктов, говорит, живут в лагерях, в грязище, с едой тоже плохо. Платят мало, работу найти трудно.

По ее лицу пробежала тень.

– Это неверно, – сказала она. – У отца есть листок, желтый такой, – там написано, что в рабочих нужда. Разве станут всё это заводить, если работы нет? Такие листки стоят больших денег. Кому это нужно – рассказывать небылицы, да еще платить деньги за свое вранье.

Том покачал головой.

– Не знаю, мать. Объяснить трудно, зачем это делается. Может быть... – Он посмотрел во двор на красную землю, залитую горячим солнцем.

– Ну?

– Может, все будет хорошо, как ты говоришь. А куда дед ушел? Где проповедник?

Мать стала с охалкой белья на пороге. Том подвинулся, давая ей дорогу.

– Проповедник пошел побродить. Дед спит дома. Он иногда среди дня заходит в комнаты поспать немножко.

Она вышла во двор и стала развешивать на веревке выцветшие синие комбинезоны, синие рубашки и длинные серые фуфайки.

Том услышал у себя за спиной шаркающие шаги и обернулся. В дверях стоял дед, так же, как и утром, теребивший пальцами застежку брюк.

– Слышу, тут разговоры, – сказал он. – Сукины дети, поспать старику не дадут. Молоко еще на губах не обсохло, не понимаете, что старику нужен покой.

Его пальцы, теребившие клапан брюк, ухитрились справиться с двумя застегнутыми пуговицами, забрались внутрь и с наслаждением почесали в паху. Мать подошла к нему с мокрыми руками; ладони у нее были размякшие, сморщенные от горячей воды и мыла.

– Я думала, ты спишь. Дай застегну. – И хотя дед отбивался, она все-таки удержала его и застегнула ему фуфайку, рубашку и брюки. – А то ходишь распустехой, – сказала она и отошла.

Дед злобно забормотал:

– Вот... вот до чего дошел – штаны застегивают. Оставьте вы меня в покое, я сам сумею застегнуться.

Мать сказала шутливо:

– В Калифорнии не позволят в таком виде ходить.

– Не позволят? Ха! Я им покажу! Они еще меня учить станут! Да я захочу – и совсем без штанов буду бегать, если уж на то пошло.



Мать сказала:

– Такой стал несдержанный на язык! Год от году все хуже.

Перед тобой хорохорится, что ли?

Старик выпятил щетинистый подбородок и воззрился на мать хитрыми, злющими, веселыми глазами.

– Вот так-то, – сказал он, – скоро и в путь отправляемся. А виноград там растет прямо у дороги! Знаете, что я сделаю? Нарву полный таз и плюхнусь туда прямо задом, да еще перезаю, пусть штаны соком пропитаются.

Том засмеялся.

– Да такой хоть до двухсот лет доживет, его все равно не обуздаешь, – сказал он. – Значит, в путь-дорогу, дед?

Старик выдвинул ящик и тяжело опустил на него.

– Да, сэр, – сказал он. – Давно пора. Мой брат сорок лет назад туда уехал. Так с тех пор ничего о нем и не слышно. Хитрюга был, сукин сын. Его никто не любил. Удрал с моим кольцом. Вот встречусь с ним или с его детьми, если он ими обзавелся в Калифорнии, потребую с них свой кольт. Да ведь я эту кукушку знаю: дети если и были, так, наверно, не при нем живут, а по чужим гнездам. Да! В Калифорнию хорошо съездить. Я там помолодею. Как приеду, так сразу пойду на сбор фруктов.

Мать кивнула:

– Ты не думай, дед не шутит, – сказала она. – Он только последние три месяца не работает, с тех пор как опять вывихнул бедро.

– Правильно, – подтвердил дед.

Том посмотрел во двор.

– Вон и проповедник идет, откуда-то из-за сарая.

Мать сказала:

– Непривычно мне было слушать такую молитву, как сегодня утром. Да это и не молитва. Он просто говорил, рассказывал, а получилось вроде молитвы.

– Он чудной, – сказал Том. – И говорит по-чуждому. Будто сам с собой. Но ломанья и притворства в этом нет.

– А ты посмотри, какие у него глаза, – сказала мать. – Будто его только что крестили. Прямо в душу проникают. А ходит как: голову повесит и смотрит себе под ноги. Будто только что окрестили человека. – И она замолчала, потому что Кэйси подходил к дому.

– Тебя солнечный удар хватит, расхаживаешь по такой жаре, – сказал Том.

Кэйси ответил:

– Да... может, и хватит. – Потом вдруг заговорил, обращаясь сразу ко всем – к матери, к деду, к Тому: – Мне тоже надо на Запад. Мне обязательно туда надо. Может, вы возьмете меня с собой? – И он смущенно замолчал.

Мать выжидающе посмотрела на Тома, потому что ему – мужчине – полагалось говорить первому, но Том ничего не ответил проповеднику. Дав Тому достаточно времени, чтобы воспользоваться своим правом, она сказала:

– Для нас это большая честь. Конечно, сейчас я ничего не

могу обещать. Отец сказал, что сегодня вечером мужчины соберутся, все обсудят и назначат день отъезда. Давайте лучше подождем. Джон, отец, Ной, Том, Эл, Конни – вот кому решать. Они скоро вернутся. Но если место будет, для нас это большая честь.

Проповедник вздохнул.

– Я все равно пойду, – сказал он. – Что здесь делается? Я походил, посмотрел – дома пустые, и земля пустая... везде пусто. Я тут больше не останусь. Пойду туда, куда все идут. Буду работать в полях, может, успокоюсь.

– А проповедовать не будешь? – спросил Том.

– Проповедовать не буду.

– И крестить не будешь? – спросила мать.

– И крестить не буду. Я буду работать в полях, в зеленых полях, буду все время с людьми. Учить их я больше не хочу. Лучше сам поучусь. Узнаю, как они любят, прислушаюсь к их словам, шагам, к их разговорам, к песням. К тому, как ребяташки уплетают маисовую кашу. Как муж с женой возятся по ночам. Буду есть вместе с людьми, буду учиться у них. – Глаза у него были влажные, блестящие. – И сам буду валяться в траве с той, кто пожелает со мной лечь, и не стану скрывать это. И сквернословить буду, и божиться, и слушать музыку, которая есть в людской речи. Теперь я понял, что все это свято, и теперь все это будет со мной.

Мать сказала:

– Аминь.

Проповедник скромно сел в холодке у двери.

– Не знаю, что еще делать одинокому человеку.

Том вежливо кашлянул.

– Если человек решил больше не проповедовать... – начал он.

– Э-э! Я просто болтун, – сказал Кэйси. – От этого никуда не денешься. Но проповедовать я больше не буду. Проповедовать – это значит что-то втолковывать людям. А я жду, что они сами ответят на мои вопросы. Разве так проповедуют?

– Не знаю, – сказал Том. – Тут и голос имеет значение, и то, к чему ты клонишь в своей проповеди. Проповедь дело хорошее, если только после нее людям не захочется убить тебя. Прошлым Рождеством пришли к нам в Мак-Алестер из Армии спасения. Три часа битых играли на корнетах, а мы сидим слушаем. Обращались с нами ласково. А попробуй кто-нибудь встать и уйти, рассадили бы всех по одиночкам. Вот тебе и проповедь! Ублажали людей, которые связаны по рукам и по ногам и не могут им всыпать как следует за их проповедь. Нет, какой же ты проповедник. Смотри только не вздумай тут на корнете играть.

Мать подбросила хворосту в огонь.

– Сейчас дам вам закусить, только не очень у меня богато.

Дед вытащил свой ящик во двор, сел на него и прислонился к стене, Том с проповедником устроились у стены. И тень, падающая от дома, протянулась дальше во двор.

Грузовик вернулся к концу дня, подскакивая и громы-

хая по пыльной дороге; на платформе густым слоем лежала пыль, и капот был покрыт пылью, а фары точно запорошило красной мукой. Когда он подъезжал к ферме, солнце уже садилось, и в его лучах земля была красная, как кровь. Эл сидел за рулем, гордый, серьезный и деловитый, а отец и дядя Джон, как и подобало вожакам клана, занимали почетные места рядом с водителем. Стоя на платформе и держась за борта, ехали остальные: двенадцатилетняя Руфь и десятилетний Уинфилд – чумазые, дикие. Глаза у них, хоть и усталые, горели восторгом, губы и пальцы были черные и клейкие от лакричных леденцов, которые удалось выклянчить в городе у отца. Руфь, в розовом кисейном платье ниже колен, держалась с достоинством, как барышня. Но Уинфилд все еще не вышел из того возраста, когда мальчишки бегают сопливые, подолгу пропадают где-нибудь позади сарая и не пропустят ни одного окурка. И тогда как Руфь с полным сознанием ответственности, налагаемой на нее полом, гордилась своей развивающейся грудью, Уинфилд все еще был маленьким сорванцом, смахивавшим на глуповатого щенка. Рядом с ними, легко опираясь о борт машины, стояла Роза Сарона. Она приподнималась на носках, стараясь принимать толчки грузовика коленями и бедрами. Ибо Роза Сарона была беременна и считала нужным соблюдать осторожность. Ее пепельные волосы, заплетенные в косы, коронной лежали вокруг головы. На округлом мягком лице, таком чувственном и влекущем каких-нибудь несколько меся-

цев назад, уже появилась печать беременности: самодовольная улыбка и взгляд уверенный и гордый; и ее полное тело – высокая мягкая грудь и живот, зад и крутые бедра, которые раньше так соблазнительно покачивались, словно напрашиваясь на шлепки и поглаживание, – все ее тело обрело сдержанность и достоинство. Каждый помысел Розы Сарона, каждое движение были устремлены внутрь, на благо ребенка. Сейчас она привставала на носки, заботясь о ребенке. И весь мир казался ей материнским чревом, и мыслила она в терминах продолжения рода и материнства. Ее девятнадцатилетний муж, Конни, взявший в жены пухленькую, горячую девчонку, все еще с испугом и недоумением присматривался к происшедшей в ней перемене, потому что теперь уже не было ни кошачьей возни в постели, ни кусанья, ни царапанья, ни приглушенных смешков, ни заключительных слез. Он видел перед собой уравновешенное, заботливое и мудрое существо, улыбавшееся ему застенчиво, но отнюдь не робко. Конни гордился Розой Сарона и побаивался ее. Он ловил малейшую возможность, чтобы дотронуться до ее тела, стать рядом и коснуться ее бедра, плеча, и это поддерживало в нем чувство близости, которое, быть может, уже начинало исчезать. Конни был техасской крови – худощавый, с резкими чертами лица, и его голубые глаза смотрели то угрожающе, то ласково, то испуганно. Он был хороший, добросовестный работник и мог бы стать впоследствии хорошим мужем. Он выпивал, но не слишком много; пускал в дело кулаки, если

это было нужно, но сам никого не задира́л. На людях он держался тихо, тем не менее его присутствие чувствовалось, и с ним считались.

Дядя Джон – не будь ему пятидесяти лет и не занимай он положения главы семьи наравне с другими мужчинами – предпочел бы отказаться от почетного места рядом с шофером. Он с удовольствием уступил бы его Розе Сарона. Но это исключалось, потому что Роза Сарона была женщина, к тому же молодая. И дяде Джону было не по себе, его глаза тоскливо смотрели по сторонам, в сильном худом теле чувствовалось напряжение. Одиночество стеной отгораживало его от людей, от нормальных людских потребностей. Ел он мало, не пил, жил вдовцом. Но неутоленные страсти зрели, накапливались в глубине и наконец прорывались наружу. Тогда он с жадностью накидывался на еду и обжирался до рвоты; или глушил виски, превращаясь в расслабленного паралитика с красными слезящимися глазами; или путался с какой-нибудь шлюхой в Саллисо. Про него рассказывали, будто он однажды дошел до самого Шоуни, уложил сразу трех проституток в одну постель и в течение часа возился с этими тремя равнодушными телами. Но, насытившись, дядя Джон ходил грустный, пристыженный и по-прежнему одинокий. Он прятался от людей и пытался искупить свою вину хотя бы подарками. Тогда он заходил украдкой в дома и совал детям под подушки пакетики жевательной резинки. Тогда он рубил хворост и не брал за это денег. Тогда он раздавал другим

все, что у него было: седло, лошадь, пару новых башмаков. Поговорить с ним в эти дни никому не удавалось, потому что он убегал, а если волей-неволей и сталкивался с людьми, то замыкался в себе и смотрел на них испуганными глазами. Смерть жены и последовавшие за этим долгие месяцы затворничества наложили на него свою печать; дядю Джона мучили угрызения совести, стыд, и одиночества его ничто не могло нарушить.

Но кое с чем ему все же приходилось мириться. Хотя бы с тем, что он наравне с остальными мужчинами считался главой семьи, а семьей надо править; и вот сейчас надо сидеть на почетном месте рядом с шофером.

Все трое мужчин, возвращавшиеся домой по пыльной дороге, сидели угрюмые. Эл, склонившись над рулем, посматривал то на дорогу, то на щиток приборов, следя за подозрительно вздрагивающей стрелкой амперметра, за указателем уровня горючего и за контрольной лампочкой. И он отмечал мысленно слабые места машины, отмечал некоторые подозрительные признаки в ее поведении. Прислушивался к скрипам, – может быть, в заднем мосту не хватает масла; прислушивался к работе клапанов. Он держал руку на рычаге переключения скоростей, чувствуя ладонью работу шестеренок, нажимал педаль, проверяя тормоза. Может быть, иной раз Эл и блудил, как мартовский кот, но сейчас он чувствовал на себе большую ответственность – ответственность за машину, за ее ход, за ее состояние. Если что-нибудь раз-



ладится, это будет его вина, и, хотя никто не скажет ему ни слова в упрек, все, и в первую голову сам Эл, будут знать, что это его вина. И он проверял машину, следил за ней, прислушивался к ней. Лицо у него было серьезное, полное чувства ответственности. И все уважали Эла, уважали его ответственность за машину. Даже глава семьи – отец – не гнушался подержать гаечный ключ для Эла и выполнял его распоряжения.

Они возвращались домой усталые. Руфь и Уинфилд устали от уличного шума, от людской толпы, от выклянчивания у отца лакричных леденцов; они устали от того восторга, который вызвал у них дядя Джон, сунувший им тайком в карман жевательную резинку.

И мужчины, занимавшие переднее сиденье, были усталые, обозленные и грустные, потому что им удалось выручить только восемнадцать долларов за всю движимость с фермы: за лошадей, фургон, инвентарь и за всю домашнюю обстановку. Восемнадцать долларов. Они ругались с покупателем, спорили, но весь их пыл сняло как рукой, когда скупщик вдруг потерял интерес к торгу и заявил, что ему ничего не нужно ни за какую цену. Тогда они почувствовали себя побежденными, сдались и получили на два доллара меньше того, что предлагалось вначале. И теперь они ехали усталые и испуганные, потому что им пришлось столкнуться с порядком вещей, который никак не укладывался у них в голове, и этот порядок вещей победил их. Они знали, что упряжка и

фургон стоят гораздо дороже. Они знали, что скупщик выручит за них гораздо больше, – но как сделать это самим, оставалось загадкой. Таинства торговли были выше их разума.

Эл, переводивший глаза с дороги на щиток приборов, сказал:

– Этот молодчик не здешний. Говорит не по-нашему. И одет тоже не так, как у нас одеваются.

Отец пояснил:

– Я в скобяной лавке повстречал кое-кого из знакомых. Говорят, сюда много таких понаехало, скупают у нас все, что идет на продажу перед отъездом. Хорошо себе руки нагрели. А что с ними поделаешь? Надо бы Томми съездить. Может, он сумел бы продать подороже.

Джон сказал:

– Да ведь этот и брать ничего не хотел. Не назад же тащить?

– Мне и это растолковали, – сказал отец. – Говорят, скупщики всегда так делают. Запугивают нас. Мы просто не знали, как с ним надо дело вести. Эх, матери только одно огорчение. Обозлится и расстроится.

Эл сказал:

– Па, а когда ты думаешь выезжать?

– Не знаю. Поговорим сегодня вечером, обсудим. Хорошо, что Том вернулся. Я все радуюсь. Том у нас молодец.

Эл сказал:

– Па, тут один говорил, что Том дал подписку. И будто из-за этого ему нельзя выезжать из нашего штата. А если уедет и попадется, тогда его посадят на три года.

Отец оторопел:

– Так и сказали? Наверно, знают, если так говорят. А может, просто болтовня?

– Кто их разберет, – ответил Эл. – Они разговаривали между собой, а я не признался, что он мой брат. Стоял рядом и слушал.

Отец сказал:

– Неужто это правда? Как же мы без Тома? Надо его самого спросить. И так забот немало – не хватает еще, чтобы за нами гонялись! Неужто правда? Надо об этом поговорить начистоту.

Дядя Джон сказал:

– Том сам знает, как ему быть.

Они замолчали. Грузовик с грохотом бежал по дороге. Мотор стучал, работал с перебоями, тормозные тяги дребезжали. Колеса поскрипывали, точно деревянные, из щели в крышке радиатора тонкой струйкой выбивался пар. Грузовик вздымал за собой крутящийся столб красной пыли. Он одолел последний подъем, когда солнце только наполовину ушло за линию горизонта, и подкатил к дому вместе с заходом. Тормоза взвизгнули, и этот звук запечатлелся в мозгу Эла: фрикционная накладка к черту!

Руфь и Уинфилд с воплями перелезли через борта маши-

ны и прыгнули на землю. Они кричали:

– Где он? Где Том? – И вдруг увидели брата и остановились в смущении, потом медленно подошли и робко взглянули на него.

И когда он сказал:

– Здравствуйте, ребятки. Ну, как дела? – они тихо ответили:

– Здравствуй. Ничего. – И стали в сторонке, поглядывая украдкой на своего большого брата, который убил человека и сидел в тюрьме. Они вспомнили, как у них была тюрьма в курятнике и как они дрались и спорили, кому быть арестантом.

Конни Риверс снял поперечную доску в хвосте грузовика, прыгнул и помог слезть Розе Сарона; и она с достоинством приняла его помощь и улыбнулась своей знающей, самодовольной улыбкой, смешно поджав уголки губ.

Том сказал:

– Да это Роза! А я не знал, что ты вместе с ними приедешь.

– Мы шли пешком, – ответила она. – Грузовик нас нагнал и подвез. – И потом добавила: – А вот Конни, мой муж. – И, говоря это, она была просто великолепна.

Том и Конни поздоровались, смерив друг друга взглядом, внимательно присмотревшись друг к другу, и остались довольны этим осмотром. Том сказал:

– Я вижу, ты времени даром не теряла.

Она посмотрела на свой живот.

– Ничего ты не видишь, рано еще.

– Мне мать сказала. Когда же надо ждать?

– Ну-у, еще не скоро! К зиме, не раньше.

Том засмеялся.

– Значит, родишь в апельсиновой роще? В беленьком домике посреди апельсиновых деревьев?

Роза Сарона потрогала живот обеими руками.

– Ничего ты не видишь, – сказала она, самодовольно улыбнулась и ушла в дом.

Вечер был жаркий, с запада все еще струился свет. И, не дожидаясь зова, вся семья собралась у грузовика – семейное заседание, семейный совет объявил свою сессию открытой.

В вечернем свете красная земля казалась прозрачной, казалось, что она раздалась вширь и вдаль, и каждый камень, столб, строение обрели глубину, плотность, не видимые глазу днем; и все предметы стали заметнее. Столб стоял точно сам по себе, отделяясь от земли, отделяясь от расстилавшихся за ним кукурузных полей. И каждый кукурузный стебель поднимался сам по себе, не сливаясь с остальными. И кряжистая ива стояла сама по себе, особняком от других деревьев. Земля точно подсвечивала вечерние сумерки. Западная стена серого неоштукатуренного дома светилась, как диск луны. Серый, запыленный грузовик выступал из сумерек, словно в далекой перспективе стереоскопа.

Вечер изменил и людей, они притихли. Они словно слились с бессознательной жизнью природы. Они повиновались

импульсам, оставлявшим лишь легкий след у них в мозгу. Глаза их смотрели сосредоточенно и спокойно, и эти глаза тоже казались прозрачными в вечерних сумерках – прозрачными и светлыми по сравнению с запыленными лицами.

Семья собралась в самом главном месте – около грузовика. Дом был мертв, поля были мертвы, но в грузовике они чувствовали что-то живое, он был для них символом самой жизни. Допотопный «Гудзон» с помятым, поцарапанным кожухом радиатора, с изношенным, забитым маслянистой пылью мотором, с нашлепками красной пыли на месте отсутствующих колпаков ступиц – эта полулегковая, полугрузовая машина, неуклюжая, с высокими бортами, была для них новым домом, местом сбора всей семьи.

Отец обошел грузовик, оглядел его со всех сторон, потом опустился на корточки и поднял с пыльной земли прутик. Правая его нога стояла на земле всей ступней, левая, отставленная чуть подальше, опиралась на пальцы, так что одно колено было выше другого. Левая рука лежала на левом колене; локоть правой упирался в правое колено, в то, которое было выше, а ладонь поддерживала подбородок. Отец сидел на корточках, подперев подбородок ладонью, и поглядывал на грузовик. Дядя Джон подошел к нему и тоже присел на корточки. Глаза у отца и у дяди Джона были задумчивые. Дед вышел из дому, увидел их, заковылял к грузовику и сел на подножку, лицом к ним. Это было ядро семьи. Том, Конни и Ной медленно подошли к этой группе и тоже опустились на

корточки, и теперь все они сидели полукругом, центром которого был дед. Потом в дверях показались мать и бабушка, а за ними, осторожно ступая, вышла и Роза Сарона. Они заняли места позади сидевших на корточках мужчин; они стали там, подперев бока руками. А дети – Руфь и Уинфилд – прыгали с ноги на ногу позади женщин; дети ковыряли босыми пальцами красную пыль, но их голосов не было слышно. Не хватало только проповедника. Он деликатно удалился за дом. Он был хороший проповедник, он знал свою паству.

Вечерние сумерки мало-помалу становились все мягче; первые минуты члены семьи, сидевшие и стоявшие у грузовика, молчали. Потом отец, обращаясь не к кому-нибудь в отдельности, а ко всем сразу, начал свой отчет:

– Ободрали нас как липку. Скупщик знал, что ждать нам нельзя. Выручили всего восемнадцать долларов.

Мать беспокойно переступила с ноги на ногу, но смолчала.

Ной, старший, спросил:

– Сколько же у нас всего денег?

Отец начал выводить цифры в пыли, бормоча что-то себе под нос.

– Сто пятьдесят четыре, – сказал он. – Но Эл говорит, что надо сменить шины. Говорит, на этих далеко не уедешь.

Эл впервые принимал участие в семейном совете. До сих пор он стоял позади вместе с женщинами. И он тоже солидно начал свой отчет:

– Машина старая. Я ее всю осмотрел, прежде чем покупать. Хозяин мне зубы заговаривал, но я его не слушал. Запустил пальцы в дифференциал – опилок нет. Открыл коробку скоростей – тоже нет. Проверил сцепление, проверил колеса, нет ли восьмерки. Подлез под кузов – рама не сломана. Аварий с ней как будто не случилось. Заметил, что один аккумулятор с трещиной, – велел заменить целым. Покрышки ни к черту не годятся, но размер ходовой. Такие всегда достанешь. Особенной прыти от нее ждать нечего, но утечки масла нет. Почему я сказал, покупайте эту, – потому что машина самая что ни на есть ходовая. Этих подержанных «гудзонов» сколько угодно продают, и части дешевые. Можно было бы выбрать за те же деньги какую-нибудь побольше да понаряднее, но у них части дорогие и не всегда их найдешь. По-моему, так правильно. – Последняя фраза должна была выражать его покорность семье. Он замолчал, дожидаясь, что скажут другие.

Дед был теперь только номинально главой семьи, власть уже ушла из его рук. Положение, которое занимал дед, было почетно и освящено обычаем. Но право на первое слово, независимо от того, что он мог сболтнуть глупость, все еще оставалось за ним. Поэтому мужчины, сидевшие на корточках, и женщины, стоявшие позади, ждали, что скажет дед.

– Правильно, Эл, – начал он. – Я был такой же щенок, как ты, бегал задрав хвост, но от дела никогда не отвиливал. Ты молодец, Эл. – Заключительная фраза прозвучала как благо-



словение, и Эл чуть покраснел от удовольствия.

Отец сказал:

– Как будто все правильно. Будь это лошадь, мы с Эла не стали бы спрашивать. Но в машинах он только один и разбирается.

Том сказал:

– Я тоже кое-что смыслю. Мне приходилось водить грузовик в Мак-Алестере. Эл правильно сделал. Все как надо. – Этой похвалы было достаточно, чтобы окончательно вогнать Эла в краску. Том продолжал: – Вот еще что... проповедник... просится с нами. – Он замолчал. Его слова были услышаны, но семья приняла их молча. – Он человек неплохой, – добавил Том. – Мы его давно знаем. Иной раз заговаривается, но глупостей от него не услышишь. – И Том предоставил решать этот вопрос семье.

Свет постепенно убывал. Мать отделилась от группы и ушла в дом, и через минуту оттуда донеслось звяканье печной дверцы. Потом она снова вернулась к погруженному в размышления совету.

Дед сказал:

– Тут по-разному можно решить. Говорят, будто проповедники приносят несчастье.

Том сказал:

– Он уже больше не проповедник.

Дед помахал рукой:

– Кто был проповедником, тот проповедником и останет-

ся. От этого никуда не уйдешь. Некоторые считают за честь держать при себе проповедника. Кто умрет – он похоронит. Свадьба – особенно если с ней надо поторапливаться, – тоже без него не обойдешься. Родится ребенок, надо крестить, – а проповедник под рукой. Я всегда говорил: проповедник проповеднику рознь. К ним с разбором надо подходить. Этот мне нравится. Он простой.

Отец ткнул прутиком в пыль и, посучив его между пальцами, вырыл в пыли ямку.

– Тут не в том дело, хороший он или плохой, принесет он удачу или несчастье. Надо все рассчитать. Невесело это, да что поделаешь. Сейчас посмотрим. Дед и бабка – двое. Я, Джон и мать – пятеро. Ной, Томми и Эл восемь. Роза и Конни – десять. Руфь и Уинфилд – двенадцать. Еще собаки – ведь их здесь не бросишь. Собаки хорошие, пристрелить рука не поднимется, а отдать некому. Итого четырнадцать.

– Это не считая кур, которые еще остались, и двух свиней, – вставил Ной.

Отец сказал:

– Свиней я хочу засолить на дорогу. Ведь мясо понадобится. Повезем солонину в бочонках. Вот я и не знаю, куда же мы его поместим? И сможем ли мы прокормить лишний рот? – Он спросил, не поворачивая головы: – Как думаешь, ма, – сможем?

Мать откашлялась:

– Не в том дело – сможем или нет. А вот захотим ли? –

твердо сказала она. – Смочь мы ничего не сможем. Если полагаться только на это, так нам и в Калифорнию не доехать. А что захотим, то сделаем. И если уж на то пошло, так наши семьи давно живут в здешних местах, и я еще не слышала, чтобы кто-нибудь из Джоудов или Хэзлитов отказывался накормить, приютить или подвезти человека, когда он просит об этом. Джоуды бывали всякие, но таких сквалыг еще не попадалось.

Отец вставил:

– А если места не хватит? – Он взглянул на нее, повернув голову набок, и устыдился собственных слов.

– Места и так не хватает, – ответила мать. – Места есть только на шестерых, а нас двенадцать. Одним больше, одним меньше – не все ли равно? Разве здоровый, сильный мужчина может быть в тягость? И в следующий раз, когда у нас опять будет больше ста долларов да две свиньи и мы призадумаемся, сможем ли прокормить человека... – Она не договорила, и отец отвернулся от нее, обиженный такой проборкой.

Бабка сказала:

– С проповедником будет хорошо. Он сегодня утром хорошую молитву прочел.

Отец переводил глаза с одного лица на другое, ища признаков раскола, и наконец сказал:

– Позови его, Томми. Если уж он едет с нами, его место здесь.

Том встал и пошел к дому, окликая проповедника:

– Кэйси! Эй, Кэйси!

Из-за дома донесся приглушенный голос. Том зашел за угол и увидел проповедника: он сидел, прислонившись к стене, и смотрел на вечернюю звезду, мерцавшую в светлом небе.

– Ты звал меня? – спросил Кэйси.

– Да. Мы решили: если уж ты едешь с нами, так пойдем туда, поможешь нам все обдумать.

Кэйси поднялся с земли. Он знал, что такое семейный совет, он знал, что его приняли в семью. И положение, которое он сразу занял, было высокое, ибо дядя Джон, подвинувшись, освободил ему место между собой и отцом. Кэйси присел на корточки лицом к деду, восседавшему на подножке грузовика.

Мать снова ушла в дом. Послышалось лязганье железной створки фонаря, и в темной кухне вспыхнул желтоватый свет. Она сняла крышку с большой кастрюли, и из дома потянуло запахом вареного мяса и свекольной ботвы. Все ждали, когда мать выйдет на темный двор, потому что ее голос на семейном совете решал многое.

Отец сказал:

– Надо подумать, когда нам выезжать. Чем скорее, тем лучше. Осталось прирезать свиней, засолить мясо и уложить. Чем быстрее все это сделаем, тем лучше.

Ной поддержал его:

– Если взяться за дело как следует, так завтра все будет готово. Послезавтра и поедем.

Им возразил дядя Джон:

– Днем, в жару, мясо не остынет. Неподходящее время для убоа. Что с парным мясом будем делать?

– Давайте прирежем сегодня. За ночь все-таки немного остынет. Поужинаем и прирежем. Соль есть?

Мать сказала:

– Да. Соли много. И два хороших бочонка есть.

– Так вот так и сделаем, – сказал Том.

Дед заерзал на месте, стараясь встать.

– Темнеет, – сказал он. – Есть хочется. Вот приедем в Калифорнию, я там с виноградом не расстанусь, так и буду ходить с кистью: чуть что – и в рот. Ей-богу! – Он встал, и остальные мужчины тоже поднялись.

Руфь и Уинфилд как одержимые скакали в пыли. Руфь сдавленным голосом прошептала Уинфилду:

– Резать свиней, и в Калифорнию. Резать свиней, и в Калифорнию – все сразу.

И Уинфилд окончательно обезумел. Он приставил палец к горлу, сделал страшное лицо и, слабо вскрикивая, закружился волчком.

– Вот старая свинья. Смотри! Вот старая свинья. Руфь! Смотри, сколько крови! – Он пошатнулся, рухнул на землю и задрогал руками и ногами.

Но Руфь была постарше, и она чувствовала, что в эти дни

творится что-то необычайное.

– В Калифорнию! – снова повторила она. Таких великих событий в жизни у нее еще не было.

Старшие пошли сквозь густые сумерки к освещенной кухне, и мать подала им мясо и свекольную ботву в оловянных тарелках. Но прежде чем приняться за еду самой, она поставила на плиту большую круглую лохань и развела жаркий огонь в топке. Потом принесла несколько ведер воды, налила лохань до краев и поставила вокруг нее еще несколько полных ведер. Кухню заволокло паром. Все наспех поели и вышли за дверь, чтобы посидеть там, пока вода не закипит. Они сидели, глядя в темноту, глядя на падавший на землю светлый квадрат от фонаря, в котором двигалась бесформенная тень деда. Ной старательно ковырял в зубах соломинкой. Мать и Роза Сарона мыли тарелки и ставили их горкой на стол.

И вдруг все, как по команде, принялись за дело. Отец поднялся и зажег второй фонарь. Ной достал из ящика на кухне кривой нож и подточил его на маленьком стертом точильном камне. Потом положил нож и скребок на колоду у дверей. Отец принес две толстые палки, заострил их с обоих концов топором и обвязал посредине крепкой веревкой.

Он ворчал:

– Зря распорки продали, ни одной не осталось.

Вода на плите клекотала, от нее валил пар.

Ной спросил:

– Как сделаем? Туда воду понесем или сюда свиней?

– Сюда свиней, – ответил отец. – Свинья не кипяток, ее не расплещешь, не ошпаришься. Вода закипела?

– Сейчас будет крутой кипяток, – ответила мать.

– Ладно, Ной, Том, Эл, пойдемте в хлев. Я понесу фонарь. Зарежем их там и притащим сюда.

Ной взял нож, Эл – топор, и все четверо пошли к хлеву; фонарь, которым отец освещал дорогу, бросал желтые блики им на ноги. Руфь и Уинфилд побежали вприпрыжку за ними. Пройдя в хлев, отец наклонился над загородкой и поднял фонарь. Разбуженные молодые свиньи завозились, настороженно хрюкая. Дядя Джон и проповедник подошли помочь.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.